

СТРЕЛЕЦ

«Стрелец» —
ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли

1

январь 1984
\$3.50



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Усомнившийся Макар

в номере:

проза

ПОЭЗИЯ

литературная критика

эссе

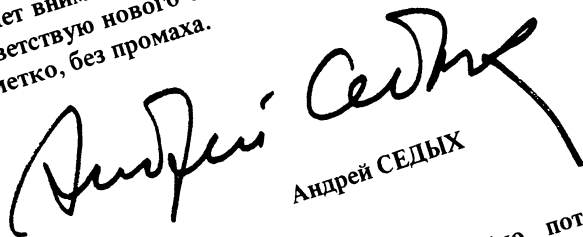
ВОСПОМИНАНИЯ

интервью



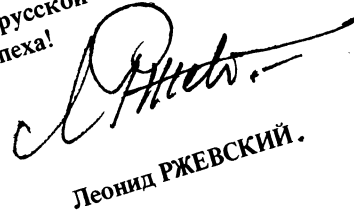
ПРИВЕТ НОВОМУ СОБРАТУ!

Александр Глезер сообщил мне о предстоящем выходе журнала "Стрелец", который будет посвящен свободному русскому искусству и литературе. Список авторов "Стрельца" является гарантией того, что журнал будет интересным. Потребность в таком издании возникла давно. В эмиграции, начиная с 1920 года, было создано множество различных изданий, но большей частью они были посвящены политическим вопросам и частично — литературе. А искусство русских художников и скульпторов не имело своего достойного журнала — разве только "Жар-птица", выходящая до Второй мировой войны в Германии. "Стрелец" восполнит этот пробел в эмигрантских периодических изданиях. Особенно хорошо, что страницы журнала будут открыты для представителей трех "волн" эмиграции. Вот почему как редактор старейшей русской ежедневной газеты, которая по мере сил уделяет внимание вопросам искусства и литературы, я с радостью приветствую нового собрата — "Стрельца" и желаю ему бить в цель метко, без промаха.



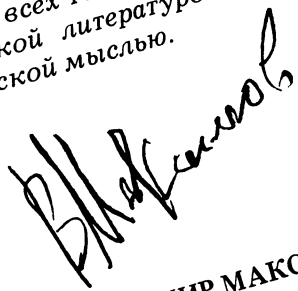
Андрей СЕДУХ

Рождение журнала всегда событийно, потому что велика у читателя жадность к свежему творческому слову. За сорок без малого лет своей эмигрантской жизни я знал таких событий немало, в иных и участвовал. И заметил: кончались они победно, только если "присутствие искусства", по выражению Б. Пастернака, на их страницах, свежей темы, свежей мысли оказывались главной их ориентацией. Так, понимаю я, обстоит дело и с новым журналом, которому пишу это приветствие и который включит в себя авторов всех трех волн русской эмиграции. В добрый путь! — стало быть. И от души — успеха!



Леонид РЖЕВСКИЙ.

Когда десять лет тому назад создавался "Континент", то выход ежеквартального русского издания казался вполне достаточным. Но с той поры многое изменилось. Прежде всего неизмеримо выросла новая эмиграция из СССР, то есть стало больше потенциальных читателей. Кроме того, за рубежом оказались десятки известных, поэтов, художников, деятелей культуры. В этой новой ситуации мы уже часто не успеваем за событиями, просто не можем вместить в объем нашего журнала все то, что создается в эмиграции. Нужно еще учитывать и такой фактор, как рукописи из метрополии. Теперь, когда атмосфера в СССР все больше сгущается и честным писателям становится все труднее опубликоваться на страницах советских изданий, да что там труднее — и вовсе невозможно, мы вправе ожидать притока рукописей оттуда по каналам Самиздата. Поэтому появление нового журнала "Стрелец", ежемесячника литературы, искусства и общественно-политической мысли, ныне как нельзя более своевременное. Такое издание, если оно окажется на уровне поставленных им перед собой задач, сумеет оперативно отражать процессы, происходящие в свободной русской литературе и культуре, как в метрополии, так и в эмиграции, станет необходимым и для русского читателя (там и здесь), и для всех тех западных кругов, которые интересуются русской литературой, искусством и общественно-политической мыслью.



ВЛАДИМИР МАКСИМОВ



Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:
НИНА АЛОВЕРТ
ЭМИЛЬ АНЦИС
АРТУР ВЕРНЕР
ЛЕВ ПОЛЯКОВ



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:

201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

- 4 Дмитрий Бобышев — Стихи разных лет
5 Владимир Войнович — Шапка. Отрывок из повести
10 Елена Шварц — Цыганские стихи
11 Сергей Юрьенен — Зимний Дворец. Рассказ
14 Виктор Кривулин — Новые стихи
16 Лев Наврозов — Лето деревенское и лето господское
Рассказ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- 19 Сергей Юрьенен — Пик Козловского
20 Майя Муравник — Лагерный Дон-Кихот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- 22 Михаил Геллер — Парадокс Платонова
23 Андрей Платонов — Усомнившийся Макар. Рассказ
29 Василий Аксенов — Карадаг-68. Эссе
31 Эрнст Неизвестный — Сон. Из книги воспоминаний
33 Оскар Рабин — Бульдозерная выставка. Из книги воспомина-
ний
38 Интервью с Александром Солженицыным /из газеты
«Таймс»/

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

- 44 Русские художники на Капитолийском холме
46 Календарь

ОТ РЕДАКЦИИ

"Стрелец" предназначен для всех, кто интересуется современной русской литературой, искусством и общественно-политической мыслью. Мы верим, что "Стрелец" сможет раскрыть единый процесс развития свободной русской культуры независимо от географии: метрополия — эмиграция.

С ежемесячником согласились сотрудничать Василий Аксенов, Дмитрий Бобышев, Владимир Буковский, Владимир Войнович, Юрий Гальперин, Михаил Геллер, Наталья Горбаневская, Фридрих Горенштейн, Александр Зиновьев, Юрий Кублановский, Эдуард Кузнецов, Лев Лосев, Владимир Максимов, Юрий Милославский, Юрий Мамлеев, Эрнст Неизвестный, Оскар Рабин, Леонид Ржевский, Олег Целков, Михаил Шемякин, Сергей Юрьенен и другие представители творческой интеллигенции русского Зарубежья.

"Стрелец" предполагает также публиковать поэзию, прозу и другие материалы, поступающие из СССР по каналам Самиздата. В разделе "Литературный архив" читатель встретится с неизвестными и малоизвестными произведениями классиков русской литературы и искусства XX века. Журнал познакомит вас с творчеством художников-нонконформистов, с проблемами современного русского киноискусства и театра, с воспоминаниями писателей, живописцев, режиссеров, актеров.

НАЧАЛО ЭПОСА

Место русское – Малые Моршки
(кто-то так ударяет: Моршкí).
Как просохнут под Пасху дорожки
между талых сугробов немножки, –
так с морковкой пекут пирожки.
А и кто оскоромясь, – бух в ножи:
– Отпусти, авва отче, грешки.

Есть и козлища: Бощенко-старший,
тот прелюбы разносит паршу, –
дом за грош отписал эмиссарше,
– Где ж Андрею селиться, где – Саше?
Дети вчуже, а в пастве: шу-шу...
– Эй, священство, в дела не мешайся!
– Не покаетесь – все разглашу!

А наутро уезд, леденя,
слушал: – Слышали, в Малых-то, ых,
кто-то бритвой... вот так... иерея.
– Нет, куда! Не догнали злодея.
– Как, земля, ты выносишь таких?
Что же Русь, что же наша надея?..
Видно, Свету бывать не в долгих.

И о жизни священской нехитрой
сын Василий поник головой
под надгробный распев панихиды.
Комья горя и камни обиды
просветляет обряд вековой:
– Мстивый дух, отженись и изыди!
Правый Боже, отца упокой.

И тогда, как стихом из пророка,
в душу дуло: "Так вот и ты..."
И для тайного умного ока
стало видно далеко-далеко
с нелюдской, неземной высоты:
времена до последнего срока
и огни, и кресты, и кресты.

И свещного говения годы,
и нагар, и упреки царям;
недороды, прельщенья, невзгоды;
в обуяньи умы и народы
и финальный – в туды – тарарам...
И в стране богомертвой Субботы
за – его же глумителей – срам.

А очнулся – прощальный прокимен
отзвучал: весть о жизни во тьму...
Крест – пока, – до плиты намогильной...
Мать с колен оперлась: – Помоги мне,
на поминки пора по нему.
– Мамо, мамо, пускай на погибель, –
я, как батя, священство приму.

Дмитрий Бобышев

ИЗ КНИГИ «ПОЛНОТА ВСЕГО»

* * *

Окстись, юнец, – Благая сила с нами!
Когда во мне ты прогоришь до тла, –
бери туда всю рвань воспоминаний.
ТУДА – толику нестрога тепла...
Дай лишь на долю новые дела
с новейшими нагими племенами.

Ленинград, 1972



МИЛЫЕ ОКИ

Нечто большое держать надо мужу под боком:
бабу, добычу, судьбу...
Брег океанский попать,
либо гору снести на горбу!
Иль по Великим Озерам подплыть к Милуокам.

Тут и у ока – для колбочек донных – улов:
черные дыры в лазури...
К ним, леденцовые, льстятся
зеленые волны-лизуньи;
лед на просвет полурозов и полулилов.

Кто паруса расписал – свинари ли, свинарки?
(визг поросячий – для глаз), –
краской свирепой и флажной,
для влажной прохлады, как раз:
синий со звездами грот, полосатый спинакер.

Да не осудят регату Дюфи и Вламинк!
У цветowych какофоний,
у белосытых берез
и ковровых газонов – на фоне:
торты азалий и клювы магнолий-фламинг.

Да, ничего Мичиган, молодежавое море,
давняя встреча вождей –
тоже, впрочем, пернатых...
Здесь даже размеры стрижей
вшестеро пуще. И все тут в ажуре, в мажоре.

Есть и куда заглядеться – в каурый накал,
в истинно Милые Оки,
чуть виноватые – мол,
далеко мы, но не одиноки...
Я их неблизко, зато как надежно сыскал!

ПОЛОСА ПУСТАЯ

А бывает и озера – нет.
Ни воды – ничего.
Кромка берега – край ойкумены.
Ни-ко-го.
Лишь по важенке стонет ревун одиноко.

Отнюдь не маяк – гамаюн.
Сухогрузку зовет, изнывая...
И – ни красок, ни слов.
Тени – в нетях. А небо? И – дно? –
Не видны.

Только стонет ревун.
Никуда ниоткуда не деться.
А индейское море ушло.
Ныне – там, где пернато-разлапы,
с томагавками, души.

Тянет ноту ревун,
алконост ластиногий, несносно.

Где мы, кто мы?
Да что там,
куда там –
туман.

Милуоки, 1980-83

ПО ЖИВОМУ

1

*Рассказать бы простым языком
о голом комке протоплазмы,
что под галстуком и пиджаком
бьется из-, невылазный...*

*Да, и маменькин гогочка, и
злой зверек, и амеба
тычется в закоулки свои
в жажде, в общем-то праведной, млека и меда.*

*Больно – значит, живешь. Больно жить.
Иногда – интересно.
И зарубкам излюбленным (чем же еще дорожить?)
за года не стереться.*

*Тут и случай: "До встречи Нигде".
Почему-то припомнилось Волково Поле,
почему-то перо – в (никогда не растил) бороде,
и – не станем додумывать боле...*

*И – никак, никуда, никогда:
перекресток вот эдаких, лучших
в переперченной жизни, – и как ни хотелось бы – да, –
нет, не выйдет, голубчик.*

*Не того ли же солнца припек
и не те ли же зги вечерами?
А, как вышло-то все не так, поперек:
что страну – мы себя потеряли.*

*И с пробоиной в ребрах, и черная чорта бортом,
держим курс на какой-то Канопус.
А, забить нам на то, что там станется с нами потом, –
раскрутили мы все-таки глобус.*

2

*Ах, ты песня, песня русская,
выручай от заморской тоски, –
словно лезвие узкое, узкое
разрезает комок на куски.*

*Почему, для чего и откуда я?
И – куда? Подо мной – океан.
Что-то где-то, должно быть, напутано:
как допить непомерный стакан?*

*Я ведь русский, брательники, русский я!
И куда же меня занесло?
Карта Мира вселенская, хрустящая
нулевое мне кажет число.*

*Где-то поле и поскоки конские,
городецкий раскол калабах.
И в размор на припеке, на солнце
холодок пропотевших рубах.*

*Повернулась Европа на палочке
и пропала в воздушной тени.
Ах, Семен Ерофеич с Пал Палычем
чокнись, друг, и меня помяни.*

Над Атлантикой, 3 июня 1983 г.

Владимир Войнович

ШАПКА

Отрывок из повести



Когда Ефима Семеновича Рахлина спрашивали, о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

— Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях прежде всего потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее. Конечно, в его книгах ничего против советской власти нет, но нет и за, они нейтральны, они просто о хороших людях и о их хороших повседневных делах.

Хорошими его героями были люди так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической или политической направленности, что давало Ефиму возможность описывать эту борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов и диссидентов.

Во всех его рассказах (раньше он писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Он меня уверял, что эти люди и в жизни такие, будучи скептиком я в этом глубоко сомневался, я знал, что люди везде одинаковы, что и на какой-нибудь дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник органов госбезопасности тоже есть, тем более, что льдина эта может придрейфовать куда угодно.

Когда я высказывал Ефиму это мое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, что мужественных людей нельзя судить по обычным меркам.

Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное происшествие. Например, один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, ближайший врач за сто пятьдесят километров, и вот хорошие люди по очереди несут своего мужественного товарища через топи и хляби, переживая невероятные трудности. Больной, хотя и мужественный, но немного отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец жилы (я сам эту книжку читал, но совершенно не помню, что там была за жила: то ли золото, то ли урановая руда). Больной просит его оставить, за что получает, разумеется, выговор от хороших людей за оскорбление. За то, что он подумал, что они могут бросить его в беде. И хотя у них кончились все припасы и еда, и курево и ударили морозы, они все-таки товарища донесли до места, не бросили, не пристрелили, не съели.

Сам Ефим был человеком нехрабрым. Он всегда боялся сквозняков, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили не только редакторы издательств, журналов и секретари Союза писателей, но и милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он всегда делал такое жалкое лицо, что только совершенный истукан мог бы ему отказать. Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей вроде скажем, переиздания книги, до самых ничтожных, вроде подписки в Литфонде на журнал "Наука и жизнь". Со мной он тоже держался, как с начальником, выпрашивая у меня (что с меня еще было взять?) комплименты.

Обычно он приносил мне свою новую рукопись и говорил:

— Знаешь, старик, мне очень важно знать твое мнение.

И при этом делал вид, что содержание этой рукописи тоже имеет важное или даже сказать точнее, непреходящее значение.

Я однажды сильно рассердился и сказал не ему, а своей жене:

— Вот придет и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольникова, который убивает старух, про человека в футляре, в крайнем случае, про Остапа Бендера.

— Ну, подожди, не горячись, — сказала жена. — Ну посмотри хоть первые страницы, может быть, в них что-то есть.

— И смотреть не желаю. В них ничего нет и быть не может. Так не бывает, чтобы человек всю жизнь писал бездарно и вдруг написал что-то из ряда вон выходящее.

— Ну ты все-таки полистай.

— Не буду, не желаю! — Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.

Жена вышла из комнаты, а я, подождав немного, стал собирать листки, заглядывая в них, возмущаясь каждой строчкой. В конце концов я пролистал всю повесть, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и конец.

Все было ясно. Я стал ожидать Ефима, когда он придет, приготовился сказать ему всю правду.

Его не было несколько дней, наконец он появился. Мы поговорили о том, о сем, о последней передаче Би-Би-Си, о наших домашних, о его сыне, который успешно заканчивает аспирантуру, в которой показал очень серьезные результаты, и что руководитель его считает, что за такую работу ему следует дать по крайней мере докторскую степень, но это вряд ли произойдет, потому что у него, несмотря на русскую фамилию, не все в порядке с пятым пунктом.

В конце концов я почувствовал, что отмалчиваться больше нельзя, что за каждым его вопросом стоит другой молчаливый вопрос.

— Да, — сказал я, — между прочим, рукопись твою я прочел.

— Ну и что? — он смотрел на меня такими печальными глазами, что я решил не убивать его сразу, сказать, как полагается в рецензиях сначала что-то положительное, а уж потом.

— Ну в общем, неплохо. Там вначале, когда идет эта сцена, когда выясняется, что сломалась деталь и кому-то надо за ней идти и выбор падает на Борисова...

— Ты имеешь в виду Егорова.

— Ах, да, извини, я перепутал, выбор падает на Егорова. Но дальше...

Я посмотрел на него и увидел в его глазах мольбу.

— Но сначала идет такая раскачка, а дальше уже гораздо лучше...

— А центральная сцена?

— Это где он сидит под стогом. Это вообще очень здорово.

— Нет, я имею в виду не эту, а где он в конце концов является в палатку...

Эту сцену я или не читал, или не помнил, и поэтому мне ничего не оставалось как похвалить и ее.

О конечной сцене я сказал, что это вообще потрясающе.

— Короче говоря, — закончил я, — я тебя поздравляю.

Моя жена выскочила на кухню, и я слышал, как она там давилась от смеха. Потом она вернулась с серьезным видом, но на глазах ее были слезы.

Он еще продолжал меня пытаться насчет своего сочинения, но жена уже пришла в себя и перевела разговор в семейно-бытовое русло: как Надя, как Петя, не знает ли он, где достать валокордин.

Уходя, все-таки он сказал:

— Ну, я рад, что тебе понравилось. Я твое мнение очень ценю.

Как только ему позвонили и сказали насчет шапки, у него сразу все вылетело из головы, он понял, что надо немедленно бежать в Литфонд, пока там все не расхватили.

Он надел сапоги и дубленку, надел шапку и остановился в раздумьи. Пожалуй, шапку лучше не надевать, потому что если он придет в такой шапке, ему скажут, зачем же вам шапка, когда у вас своя есть хорошая. Пожалуй, скажут, что мы в первую очередь обеспечиваем нуждающихся писателей.

Подумав, он снял шапку и полез на антресоли, где жена хранила пересыпанные нафталином летние вещи. Он долго рылся среди сваленных на антресолях вещей, наглотался пыли и чуть не свалился со стремянки, но кепку в конце концов отыскал. Отряхнул ее от нафталина, надел на голову, подошел к зеркалу. Вид был совершенно дурацкий в кепке и дубленке, одно не соответ-

ствовало другому. Он снял дубленку и надел пальто. И вид его опять ему не понравился. Пожалуй, если он в таком виде придет и все увидят, что он ходит по такому морозу в осеннем пальто и кепке, его примут за человека неважного, которому можно отказать. Он опять надел дубленку, и опять она никак не гармонировала с кепкой.

Он позвонил жене посоветоваться, но ему сказали, что жена в студии, идет запись и звонить туда нельзя. Он попросил передать жене, чтобы она немедленно ему позвонила, как только освободится, разделся и вернулся к столу.

И опять стал обдумывать свой сюжет, вернее, ему надо было придумать фамилию главному герою, но она никак не придумывалась, мысли крутились вокруг шапки. А, может, и героя назвать Шапкин. Нет, нет, это какая-то слишком заурядная фамилия. Меховой? Нет, Меховой тоже не годится, как-то слишком значительно. Меховой хорошо для директора завода или управляющего трестом, а для его героя.... У героя должна быть фамилия простая, но не заурядная. Простая, но не заурядная. Эта мысль ему опять понравилась. Он подумал, что ее можно вставить в аннотацию к будущей книге: "Главный герой книги, человек с простой, но не заурядной фамилией..." Но какая же? Кроликов? Тоже слишком заурядно... И Пыжиков ненамного лучше. Моржов? Енотов? Слишком искусственно. Лисавенко? Почему украинская фамилия? Бобров? Бобров ничего, но Кротов, пожалуй, лучше. Да, именно Кротов. Он был доволен. Кротов — фамилия простая, скромная но не незначительная. Интересно, бывают ли кротовые шапки? Шубы, он слышал, бывают. А шапки? Про шапки не слышал. Вообще-то говоря, в мехах он особенно не разбирался. Таня в мехах разбиралась.

Он посмотрел на часы, посмотрел на телефон. Телефон молчал. Может быть, ей забыли передать, что он звонил. Он позвонил еще раз... Секретарша сказала, что она не забыла, но Таня все еще в студии и вернется не раньше, чем к обеду.

Тогда он опять позвонил Фишкину.

— Слушай, как ты считаешь, как лучше идти, в шапке или в кепке? Какой вариант лучше?

— Как сказал бы товарищ Сталин, оба хуже, — сказал Фишкин. И привел те же доводы, которые пришли на ум и ему.

— Что же делать? — спросил Ефим.

— Я думаю, лучше всего иди вообще без шапки. Дубленка и без шапки. Вполне солидно. Может, ты закаляешься.

Все-таки Фишкин был человек деловой и сообразительный.

— Ну, а если они скажут, раз вы ходите вообще без шапки, то зачем вам она нужна?

— Старик, что ты все время боишься? А если спросят, а если спросят... Скажешь, не ваше дело.

В конце концов у него выбора не было, он согласился.

Он надел дубленку, взял портфель, набитый собственными книгами (на случай встречи с нужными людьми) и вышел к лифту. Лифтерши внизу не было. Он встретил ее во дворе, она бегала очень чем-то взволнованная.

— Надо же, какое нахальство! — кричала она на весь двор. — Обращаясь неизвестно к кому. — Бесстыжие! Милиции на вас нету!

— Варвара Григорьевна, что случилось? — поинтересовался Ефим.

— Да как что случилось? Зла не хватает, честное слово. Вонницу развели. Пьянь всякая. Идут от магазина к метро, и каждый норовит завернуть под арку. Я ему говорю: "Гражданин, куда вы сцете? Здесь же вам все ж таки не туалет. Здесь люди какие живут. Вон же туалет через дорогу, неужели так трудно добежать. Так нет, выгацил свою штуку и поливает. И милиция, главное, на это дело ноль внимания. Я участковому сколько раз

говорила, а он только рукой машет, ему, мол, не до этого.

Ефим отдал ей квитанцию и пошел дальше.

Мороз был небольшой, но дул ветер, лысына с непривычки мерзла.

В Литфонде есть учреждение, которое называется производственный комбинат. Явившись в этот комбинат, Ефим встретил в коридоре писателя Анатолия Мыльникова, с которым когда-то учился вместе в Литинституте.

Карьера Мыльникова по непонятным Ефиму причинам сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал книги не только о хороших людях, писал не так много и печать его больше ругала, чем хвалила.

Но эти обруганные книги привлекли внимание иностранцев, были переведены на несколько иностранных языков, и Мыльникова, хотя и ругали, но продолжали печатать и даже выпускали за границу в составе делегаций и отдельно.

На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную "Волгу" (другие писатели, в лучшем случае, ездили на "Жигулях"), видеоманитофон, а дома угощал гостей виски и джином.

Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где он прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по Би-Би-Си. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех.

— В "Таймс" обо мне писали, что я современный Чехов, — говорил Мыльников вполголоса. — В "Гардиан" была очень положительная статья.

Директором комбината был человек новый. Старого недавно сняли за взятки и перевели директором подмосковного дома творчества, где он брал еще больше. А новый (так, по крайней мере, про него говорили) взятки пока не брал, а если брал, то не с каждого. Звали его Андрей Андреевич.

Ефим вошел к нему, лъстиво улыбаясь и придавая лицу своему очень жалкое, даже несчастное выражение.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич, — сказал он так, как будто был знаком с директором давно.

— Здравствуйте, — хмуро ответил директор, но не встал, не подал руки и даже не предложил сесть.

Обычно директора мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливой.

Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и умильно посмотрел на Андрея Андреевича.

— Значит, вы у нас теперь будете директором?

— Не буду, а есть, — хмуро поправил Андрей Андреевич.

— Вы к нам из торговой сети пришли?

Андрей Андреевич первый раз посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал:

— Нет, я из органов.

— Ага-а! — сказал Ефим. — Из органов. — Всем своим видом Ефим изобразил почтение к прежней деятельности директора и уверенность, что его соратники очень хорошие люди. — Значит, вас сюда прислали на укрепление.

— Да, — сказал Андрей Андреевич, — на укрепление. А вам что угодно?

Смущаясь, робея и делая жалкий вид, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в Литфонде можно сшить шапку, а ему очень нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях, где изучает жизнь мужественных людей. Как будто тем, кто в экспедиции не ездит, не нужны хорошие шапки.

Андрей Андреевич выслушал и спросил Ефима, член ли

он ССП. Ефим объяснил, что уже восемнадцать лет член, что написал одиннадцать книг, что активно участвует в комиссии по работе с молодыми писателями и выложил на стол перед директором заявление с просьбой дать разрешение на пошив шапки из ценного меха.

Директор заявление прочел, открыл ящик стола и долго в него смотрел (Ефим понял, что на дне ящика лежит какой-то список). Посмотрев в ящик, директор придвинул к себе заявление Ефима и красным карандашом написал наискосок: "Принять заказ на головной убор из кролика".

— Но почему же из кролика? — закричал Ефим. — Я восемнадцать лет в Союзе писателей, я напечатал одиннадцать книг. Овчинников напечатал только одну, а вы вчера подписали ему разрешение на сурка.

— Я не знаю, кто такой Овчинников и что я ему подписал, — сказал директор. — У меня, — признался он, — есть список выдающихся писателей, которых мы в первую очередь обеспечиваем ценным мехом. А вашей фамилии в этом списке нет.

Ефим пытался выразить возмущение отсутствием своей фамилии в списке, опять напирая на свой стаж и на количество изданных книг, и на свою общественную активность, но Андрей Андреевич сложил руки на груди и спокойно ждал, пока посетитель выговорится и уйдет.

Видя его непрошибаемость, Ефим сделал еще более жалкое лицо, отказался взять заявление и, бормоча ничего не значащие слова, что он будет жаловаться, пошел было к двери, но у дверей вспомнил, что не сделал того, что должен был сделать сразу.

На ходу он переменял выражение с просто жалкого на жалко-доброе, вынул из портфеля свой только что вышедший роман "Операция" и положил на стол перед директором.

— Совсем забыл, — сказал он, улыбаясь и кивая головой, словно кланяясь. — Это вам.

— Что это? — спросил Андрей Андреевич, скосив глаза на книгу, но не притрагиваясь к ней.

— Это моя книга, — объяснил Ефим, пододвигая книгу к директору.

— Это не надо, — сказал директор, отодвигая подарок двумя руками, словно тяжелый предмет. — У меня есть свои книги.

— Нет, вы меня не так поняли, — сказал Ефим. — Я понимаю, вы здесь человек новый... Я, понимаете, писатель, я эту книгу сам написал.

— Я понимаю, но не надо, — сказал директор.

— Но как же? — заволновался Ефим. — Это же не взятка, это символический подарок. Я вам даже и надписал, так что это уже все равно экземпляр испорченный.

— Мне не нужны чужие вещи ни хорошие, ни испорченные, — стоял на своем директор.

— Да это не вещь. Это книга. Это в порядке вещей, что писатель дарит... Никто никогда не отказывался. Я даже министру одному дарил...

— Меня не интересует, что вы кому дарили, — повысил голос директор. Встал и перегнувшись через стол, сунул книгу Ефиму в портфель. — Заберите это и не мешайте работать.

Униженный, оскорбленный, оплеванный Ефим вышел из кабинета. В коридоре он встретил Елизавету Абрамовну, которая занималась распределением путевок в дома творчества. На вопрос ее, как дела, Ефим ответил:

— Очень хорошо. — И жалко улыбаясь, вышел на улицу.

Было холодно, сыпал редкий сухой снег. Ефим шел походкой старого больного человека, перегибаясь вправо под тяжестью портфеля, набитого его собственными книгами.

— Фима! Фима! — услышал он сзади взволнованный голос и обернулся.

В расстегнутом пальто с шапкой в руках бежал за ним, запыхавшись, Мыльников. По его лицу было видно, что он несет

важное известие. Неужели директор?.. Ефим распрямылся в предвкушении.

— Слушай, — переводя дыхание, замахал шапкой Мыльников, — совсем забыл. Еще в этой... ну как ее... в "Йоркшир пост" была обо мне статья почти на всю страницу. С портретом.

Утром он не мог дождаться приличного часа и позвонил своему покровителю. Его покровителем был Василий Каретников, писатель, Герой Социалистического труда, депутат и лауреат всех премий, секретарь Союза писателей и главный редактор толстого журнала.

К телефону подошла жена Каретникова и сказала, что Василий Степанович нездоров и принять его никак не может, но тут в трубку влез голос самого Василия Степановича.

— Фимка, — загудел голос, — не слушай ее, хватай такси и чтобы через пять минут был здесь. Да, и рукопись захвати.

Жена Каретникова встретила его неприветливо. — Ну заходи, раз пришел. Василий Степанович тебя ждет. Во фраке.

Ефим прошел по длинному коридору. Дверь в кабинет Василия Степановича распахнулась. Сам Василий Степанович появился перед Ефимом в длинных футбольных трусах и майке, прожженной на груди. Он втащил Ефима вовнутрь, захлопнул и прижал дверь плечом.

— Принес? — спросил он громким шепотом.

— Принес, — сказал Ефим и вытащил из того же портфеля не рукопись, а чекушку.

— И это все? — разочарованно спросил Каретников.

— Есть и второй том, — приветливо улыбнулся Ефим и, приоткрыв портфель, показал — вторая чекушка лежала на дне.

— Вот молодец! — зашипел Василий Степанович, зубами срывая пробку. — Жонглерским движением покрутил бутылку, водка запенилась и потекла завинченной струей в раскрытую пасть Каретникова. Отпив таким образом примерно треть, хозяин ухнул, крикнул и спрятал бутылку на книжной полке за "Капиталом" Маркса. — Молодец! — еще раз похвалил он. — Вот что значит еврейская голова! Я почему против антисемитизма? Потому что еврей в умеренном количестве полезный элемент общества. Вот, скажем, в моем журнале я — русский, мой заместитель — русский, это правильно. Но ответственного секретаря я всегда беру еврея. У меня прошлый секретарь был еврей и теперешний тоже. И когда мне в ЦК хотели подсунуть вместо Рубинштейна Новикова, я им сказал: дудки. Если вы хотите, чтобы я продолжал делать настоящий партийный литературный журнал, вы мне моих евреев не трогайте. Я вот уже тридцать шесть лет редактор, все пережил и даже во времена космополитизма у меня где нужно всегда были евреи. И они всегда знали, что я их в обиду не дам. Но и от них требую верности. Я Лейкина к себе вызвал, стакан водки ему поставил: "Ну, Немка, говорю, если ты на историческую родину поглядываешь, то от меня мотай заранее не меньше, чем за полгода до подачи. Надуешь, яйца оторву, поедешь в Израиль без них".

Большой, грузный, он ходил по комнате, заложив руки за спину и говорил заплетающимся языком. Иногда в местах, казавшихся ему наиболее удачными, хлопал себя по ляжкам и взвизгивал. Перескочив с одной темы на другую, спросил Ефима, не видел ли тот его статьи.

— Где? — быстро спросил Ефим.

— Ты что же, милый друг, "Правду" не читаешь? — спросил не без ехидства. Видишь, как я тебя подловил. Ну-ну-ну, не бойся, никому не скажу. Вот, — схватил со стола газету и сунул Ефиму. — "Всегда с партией, всегда с народом". Три колонки в центральном органе. Вот как надо писать. Просто и без прикрас.

Всегда с партией, всегда с народом. Всегда и с тем и с другим. А не то что там... — Не закончив мысли, он застонал, подбежал к двери и схватив самого себя за уши, трижды головой, как посторонним предметом, стукнул в дверь. — Ненавижу, — прорычал он и заскрипел зубами, повторяя: ненавижу, ненавижу, ненавижу. Набычился злобно на Ефима. — Ты думаешь, кого ненавижу? Знаешь, но боишься подсказать. Власть нашу, любимую, советскую... не-на-ви-жу. — И опять стукнулся лбом о стену.

— Василий Степанович, — сказал Ефим и показал на потолок.

— А, микрофоны? — Каретников махнул рукой. — Мутня.

То, что я здесь говорю — неважно. Важно то, что я пишу здесь, в газете. И важно, что говорю публично. А то, что несу здесь, неважно. Все знают, он алкаш, с него что возьмешь. Тем более обидели, суки. Обещали меня рекомендовать в академики, а рекомендовали Шушугина. А из него академик, как из моего члена прокурор. Он вместо слова "пиджак" "спенжак" пишет. А то, что я говорю, да еще когда обижен, это никому неинтересно. Партия требует от нас не принципов, а преданности. Когда можно, я ее ненавижу, а когда нужно, я ее солдат. Ты писатель и понимать должен разницу между словами "можно" и "нужно". Мне кое-что можно, потому что я делаю все, что нужно. И они это знают. Дай-ка еще глотнуть.

Василий Степанович сел в кожаное кресло и закрыл глаза. Пока Ефим доставал из-за Маркса бутылку, пока приблизился к Василию Степановичу, тот заснул.

Ефим сел напротив, держа бутылку в руках. Время текло. Часы в деревянном футляре отбили половину двенадцатого. Ефим озирался по сторонам, разглядывая предметы. Стол и кресло старинной работы, современные книжные полки, заставленные собраниями сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Брежнева. Впрочем, Брежнев стоял на первом месте. Когда-то на первом месте стоял Сталин, потом Хрущев. Потом Хрущев исчез, а Сталин опять появился. Правда, теперь он стоял не на первом, а на последнем месте, после сочинений вождей второго ранга.

Наконец, Каретников открыл один глаз, потом второй.

— Сколько времени? — спросил он.

— Четверть второго, — ответил Ефим шепотом, как бы все еще боясь его разбудить.

Каретников протянул руку.

— Дай!

Отхлебнул из бутылки, но без прежней жадности, покривился и потряс головой.

— Ну, выкладывай за чем пришел. Что хочешь: дачу, машину, путевку в Пицунду, подписку на журнал "Америка"?

— Да нет, — улыбнулся Ефим, всем своим видом давая понять, что его притязания гораздо скромнее и выглядят, по существу, пустяком, из-за которого ему даже неловко беспокоить такого крупного человека.

— Говори, говори, — поощрил Василий Степанович.

Наконец Ефим собрался с духом и пересказал Василию Степановичу, который выслушал его внимательно до конца, после чего еще отпил из бутылки, посмотрел на Ефима по-новому.

— Ты кого за дурака держишь, себя или меня? Ты, может быть, думаешь, что ты умная еврейская голова, а я пальцем деланный и лаптем щи хлебавший. Ты думаешь, что дачу попросить слишком много, а шапку попросить суцая ерунда. Врешь! — закричал Василий Степанович и вскочил на ноги, как молодой. Ефим отпрянул.

— Ты ведь врешь, ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна. Шапку ты за сотню-другую-третью можешь у какого-нибудь барыги купить не хуже. А тебе не это надо, ты хочешь дуриком в другую категорию пролезть, в другой класс, ты хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, чтоб нас уравнили, чтобы между нами никакой разницы не было. Умный

ты, я вижу очень, чересчур умный. Ты будешь писать о хороших людях, как будто никакой такой коммунистической партии и никакой советской власти не существует. Нет уж, дудки, дорогой мой. Если уж ты хочешь, чтоб нас уравнили, так ты и в другом равенства не избегай. Ты, как я, напиши смело и не кривясь: "Всегда с партией, всегда с народом". Да посиди десяток-другой лет в президиумах со значительной и кислой рожей, да произнеси сотню-другую глупейших казенных речей, вот после этого и приходи за шапкой. А то ишь ты какой! Чего захотел! Шапку ему дайте получше. А с какой это такой стати? Ты вот мне, небось, завидуешь, что за границу ездю да тряпки всякие привожу. Это ты одну сторону моей жизни видишь. А того ты не видишь, что я там еще за мир во всем мире, ети его мать, борюсь. Ты вот тоже в турпоездке был. Где? В Париже? Тебе там вопросы задавали. Ты что отвечал, что политикой не интересуешься. А мне так крутиться нельзя. Я должен отвечать прямо и отвечаю. Что я думаю о Сахарове? Думаю, что сумасшедший. Что я думаю об Афганистане? Думаю, что этих бандитов надо давить. Думаешь, мне это приятно? Нет. Мне это тоже весьма неприятно. Я тоже хочу улыбаться и чтобы мне улыбались. Я тоже хочу писать о хороших людях и делать вид, будто не знаю, кто такой Сахаров и что такое Афганистан. Ты думаешь, что ты против советской власти не пишешь, так мы тебе за это спасибо скажем? Нет, нам мало, что не против. Нам нужно за. Будешь, как я, писать о секретарях райкомов и обкомов, все получишь. Простим, что еврей, и дачу дадим, и шапку. Хоть из пыжика, хоть из ондатры. А тому, кто уклоняется и воротит носом — вот! — И поднес к носу Ефима огромную фигу. Он сделал этот грубый жест, не задумываясь. Даже не предполагая, что из этого могут произойти какие-нибудь последствия. Да будь это в другой раз, их бы и не было. Но тут... Ефим потом и сам не мог понять, как это произошло. Увидев перед собой фигу, Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивши его до кости.

Это было так неожиданно, что Каретников даже не сразу почувствовал боль. Он отдернул руку, посмотрел на Ефима, посмотрел на палец и вдруг завыл и закружился по кабинету, тряся рукой и брызгая кровью на персидский ковер.

На его вой прибежала в бигудях жена. С тряпкой в руках появилась домработница Надя.

— Что случилось, Вася? — тонким голосом прокричала жена, кидаясь к Каретникову.

— У-у-у-у! — выл Каретников, как паровоз, и тряс рукой, истекающей кровью.

— Фима, — обратилась жена Каретникова к Ефиму, — я не могу понять, что случилось.

Фима, как потом говорили, казался совершенно спокоен. Он взял с полки чекушку, допил остатки, поднял с пола незастегнутый портфель и вышел.

По-моему, с этим укусом что-то сдвинулось в его психике. Прямо от Каретникова он пришел ко мне и сказал, что просит устроить ему пресс-конференцию и созвать иностранных журналистов. Он хочет сделать заявление о своем выходе из Союза писателей. В ответ на мой вопрос, не сошел ли он с ума, он рассказал, что случилось на квартире Каретникова, сказал, что ни о чем не жалеет, но теперь его, конечно, загребут за терроризм, но он перед этим хотел бы сделать заявление и напоследок послать их подальше.



Елена Шварц

ЦЫГАНСКИЕ СТИХИ

1

*О если б для табора малой обузой
завернутой в шаль на телеге катить,
и самой грязной, самой толстопузой
и вороватой я б хотела быть.*

*На угли похожи косматые братья,
вчера из темного огня.
Еще доатлантидиным заклетьям
грудную, бабка, выучи меня.*

*На младенческой шее монистом
из медяшек гордо бряцать,
петь с рождения тихо, с присвистом,
чтобы темный народ потешать.*

*После праздника – как христиане
принесли своим мертвым поесть –
яйца, корочки, водку в стакане –
мне не стыдно в ограду залезть.*

*На Солнце сквозь заветный злат-малинов
платок смотреть, пока не отберут,
где птицы пестрые пропахли нафталином,
но все равно на Солнце гнезда вьют.*

*И зовись я Земфирой иль Таней,
чтобы мне никогда не взростеть,
я б старалась в вечернем тумане
от оспы лихой помереть.*

*Ну, поплачут родные, конечно,
у них дети пригоршнями – медь.
Только звякнет кольцом поржавевшим
таборный старый медведь.*

*И вернусь я тогда, о глухая земля,
в печку Африки, в синь Гималаев.
О прощайте вы, долгие злые поля,
с вашим зимним придушенным лаем.*

2

*Чолк с прищелком,
эй, ромале,
свет с Луны катится,
и в моем зрачке зеленом
он дрожит и злится.
Чай – трава отравная,
чай – трава китайская,
сухарь – душу не размочит,
душу не хмельную.
Слетай, сокол, слетай в лавку,
купи зеленую.
Злато, серебро покинь,
возьми зеленую.
Ах, какое радость-счастье
разлито повсюду,
оно жжется, оно льется
даже на Иуду.*

.....

*Надо скуку утопить,
и тоску разбавя,
друзей-недрузгов простить
можно не лукавя.
Муха, муха зажужжала,
где ж, осенняя, твой стыд?
Вот гитара заиграет
и тебя перезвент.
Эх да пой ты! Разве дело
взглядывать в тетрадку!
На душе повеселело –
в ней зажгли лампадку.
Эй, с прищелком чолк, ромале!
Слетай, сокол, в лавку.*

3

*По Луне по мокрой – страх –
дико хлещут ветки,
будто баба в небесах
парится на полке.
И зеленой ягодицей
в глазу хочет закружиться,
золотом пятнает око –
ах, как стала бы я птица –
улетела б я далеко.
Это будет уже слишком,
весь ты взбаламучен,
я ли кошка, ты ли – мышка,
ты меня примучил.
Я тебя не завлекала –
что мне за корысть?
Мне бы жить себе тихонько,
пить да ногти грызть.
Нет ногтей у меня острых,
цвета окон на закате,
чтоб вцепиться в чье-то сердце
и надрезать – с меня хватит.
Я уже белее мела,
чур-чура, чур, брысь,
это черта злое дело.
Ты перекрестись.
Мне б разрыв-травой развиться
и напиться черна сока.
Ах, как стала бы я птица,
улетела б я далеко.*

4

*Когда встретимся с тобой
в синей-синей бездне,
занужу и запилю,
а потом к груди прижму,
во-ты мой болезный.
Там ты будешь мой сынок,
разнесчастный, бедный,
пыль я смою с твоих ног.
Гребенкою медной –
расчешу тебя, разглажу,
завию и припомажу.
Еще падут к нам светлые денечки,
синий снег, легонький, мукомольный,
расцветут в мороз на бревнах почки...
И не зря ношу я крест нательный.
Умереть – что почесать в затылке,
светлое Оно – пускай случится.
Мой удел лежать письмом в бутылке,
буквами лазурными лучиться.*



5

*Покормлю злаченых рыбок,
ущипну гитару за бок.
А то день как жизнь проходит
в топаны усталом тапок.
Желтой розы третьедневной
сладкосиний запах.
И ее измяло тленье
своей грубой лапой.
Мне смотреть бы жизни нить
к самому началу,
и уж снова раскрутить
я б не разрешала.
Я свернулась бы, свилась
снова в тот клубочек.
Я б обратно вродилась,
закатилась в точку.
Ах, хотя б безумья жаром
памяти сжечь свиток.
Ты подвой, подвой, гитара,
за меня вздохни ты.*

6

*Глаза намокли изнутри,
наружу слезы просятся.
Душа до утренней зари
изноется, износится.
Я холодна, душа пуста,
карают так нелюбящих.
И тела шелковый кафтан
перевешает в рубище.*

7

*Голубую свою ауру видела!
Только будто галошей в нее наступлено,
и грязцы дождевой подмешано –
грешная,
видно тяжко себя я обидела,
и лазурь моя вся притуплена.
Чашу разбила венецианскую
и оковала душу цыганскую...
Пьянство и лень – с вами спать и обедать
стала бы я – про лазурь кабы ведать?*

8

*Пусть как свежая кровь – бусы – алы вы,
а крест сияньем подобен ножу,
крест серебряный, бусы коралловы –
только вами я и дорожу.
Светом налитые, звезды морозные,
пусть вы сияньем подобны ножу.
Мука сладкая, счастье слезное –
только вами я и дорожу.*

70-е

Сергей
Юрьенен

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ



Когда Августа уходит в школу, мама берет с ее тарелки недоеденную макаронину и кладет на пол, у дырки в стене. Плинтусов в нашей комнате нет, их сожгли в Блокаду.

Мы влезаем на наш матрас, стоящий на кирпичиках, забиваемся в угол и замираем обнявшись. Мы смотрим на дырку. Ждем, когда из нее вынырнет мышонок Тим — длиннохвостый с умными бусинками красных глаз. Не одни мы его дождаемся: из коридора о нашу дверь урча ласкается бабушкин сибирский кот Кузьма Второй (Первого в Блокаду у бабушки похитила и съела соседка по лестничной клетке, старуха Благодравова). Дверь надежно заперта на задвижку, но мышонок все равно не приходит. Чует Кузьму.

— Ладно, — говорит мама. — Белье развесить надо, а я лежу тут с тобой, как принцесса!

Она встает.

— Хочу с тобой! — говорю я.

— После того, что ты натворил? Лежи уж...

Она надевает на шею ожерелье из деревянных прищепок и уходит на чердак. На чердаке я уже был — лучше не вспоминать. Был и в подвале. Мама взяла меня, когда пошла за дровами. Подвал был сырой, со страшными тенями, и там я потерялся. На свет моего огарка сошлись крысы, которым было так голодно, что, пища, толкаясь и кусая друг дружку, они стали грызть бабушкины войлочные валенки. Эти валенки мне были по одному месту, и они не сгибались, когда я передвигал ноги. Поэтому я не передвигал, а стоял, дожидаясь, когда меня найдут, и смотрел

РАССКАЗ

на крыс. Огарок оплывал на кулак. Я отлеплял горячие прозрачные лепешки и бросал их крысам, которые, отвлекаясь от валенок, бросались на стеарин, как голуби на крошки. Мне их стало жалко так, что я задул огарок и бросил его весь. Потом меня ругали. Сказали, что крысы вместе с валенками могли съесть и меня. Тогда еще я маленький был — не понимал.

К стене над матрасом прицеплен репродуктор. Черная бумага натянута на проволочный каркас так туго, что кое-где прорвалась. Я осторожно встаю, беру вилочку и втыкаю в дырки. Помолчав, репродуктор говорит:

— Мы передавали беседу товарища Сталина с корреспондентом газеты "Правда". А теперь послушайте китайскую народную музыку в исполнении оркестра Пекинского радио.

Под китайскую музыку я слезаю с матраса. Подбираю заплывшуюся макаронину, кладу обратно в тарелку. Подтаскиваю стул к окну и влезая на подоконник.

В окне двойные рамы. Между ними внизу слой грязной ваты, а сверху, зацепленная за форточку, свисает пустая авоська. Я расплющиваюсь о холод стекла.

Прямо напротив — одна стена, скучная, а налево — другая, повеселей, потому что к окну на этой стене подвешен фанерный ящик — ледник. Снег на крышке ледника истоптан голубями и воробьями — туда им бабушка из кухни бросает крошки. Направо тоже есть стена, но доходит она только до третьего этажа, а с нашего седьмого в эту щель открывается хоть и узкий, но дальний-дальний вид — на белое дно неведомого дворика. Там чернеет дерево, которое весной зеленеет. В том дворике я никогда не бывал. С какой улицы туда можно попасть, через какую подворотню, какими проходными дворами — неизвестно. Никто этого не знает. Поэтому и снег там такой нетоптанный. Я мечтаю там побывать. Когда-нибудь.

Открывается дверь, и мама говорит:

— Слезь с окна: простудишься!

В последний раз я взглядываю на дворик в раме обмороженного по краям стекла — и отлипаю.

— Мама, — вспоминаю я, — когда же мы пойдем в Зимний дворец?

— Пойдем, — обещает она снова.

— Когда?

— А хоть бы и сегодня!..

Я спрыгиваю на пол.

— Сейчас?

— Вечером, — говорит мама. — А сейчас мы с тобой пойдем за сахаром стоять. На Загородном выбросили и дают — представляешь? — по полкило в руки.

О Зимнем дворце я знаю все, мне дедушка рассказывал. Прежде дворец принадлежал династии Романовых — императорам Российским. Сейчас принадлежит народу, который, надев поверх обуви огромные войлочные тапки, неуклюже скользит по зеркалу паркета, догоняя экскурсовода — строгую тетю в темно-зеленом кителе.

Я вырываюсь от мамы и, как на каток, въезжаю в Большой тронный зал. Снизу опрокинуто сверкают хрустальные люстры, и красота этого зала — белого, багрового, золотого — слепит глаза. Перед барьером группа останавливается, а я, увлекшись, проезжаю под барьер. Мама извлекает меня обратно.

— Смотри!

Со стены на меня тысячами сверкающих глаз взирает сказочная страна. Тетя в кителе поднимает указку.

— На месте императорского трона мы с вами видим карту нашей великой Родины — Союза Советских Социалистических Республик. Эта уникальная карта установлена тут в 1937 году.

Ее площадь — 27 квадратных метров. Более 45 000 уральских самоцветов понадобилось, чтобы воссоздать лицо бескрайней нашей Родины. Дивными звездами горят наши города, их более 450-ти. Но взгляд наш невольно притягивает самая крупная звезда. Это столица нашей Родины...

— Ленинград!

— Чей это мальчик?

— Мой, — берет меня за руку мама.

— И ты не знаешь, как называется столица твоей Родины? — Тетя укоризненно смотрит сверху. — Это прежде Ленинград был столицей, и тогда он назывался сначала Санкт-Петербург, а потом Петроград. Свершилась Великая Октябрьская революция. По указанию Ленина столицу перенесли в Москву. А после смерти Ленина, по просьбе нашего народа, Петрограду присвоили имя Ленинград. В твоём возрасте, мальчик, такие вещи уже надо бы знать. Чтобы не попадать перед всеми впросак.

Ко мне наклоняется мама.

— Не стыдно? Я же сто раз тебе объясняла! Где живет дедушка Сталин?

— В Москве...

— Видите? — Мама выпрямляется. — Он знает.

— Молодец! Ты любишь свою Родину, мальчик?

Я запрокидываю голову. Родина — вся — в золотой раме. Над рамой — герб. Такой же, как на монетах. Земной шар в колосьях и под звездой. Вокруг герба — красные флаги. Украдкой мама щиплет меня.

— Язык проглотил? Отвечай!

— Люблю...

— Вопросы по залу будут, товарищи? — отстает тетя. — Площадь 800 квадратных метров. Колонны, их 48 ровно, можете не считать, из итальянского мрамора. Люстр 26, лампочек полторы тысячи. Да, а в орнаменте использовано более 18 000 деталей из позолоченной бронзы. Еще вопросы?

— А где же трон?

Мама запоздало делает мне больно. Все смотрят на меня, потом на тетю в кителе.

— Перемещен в Малый тронный. В ходе экскурсии мы его увидим. Всему свое время, товарищи. Прошу следовать за мной!

Галерея Отечественной войны 1812-го года. Со стен взирают горделиво 332 генерала во главе с Александром Первым.

Гербовый зал — победа генералиссимуса Суворова, а также Петра Великого.

И наконец он, Малый тронный. Глаза сами жмурятся от золота, а ноги сами ведут меня...

— С ума сошел? — Мама перехватывает меня у плюшевых канатов, которыми прегражден доступ. Там, в запретной зоне, под звездным куполом сияет в высоте своими раздвоенными полушариями корона императоров. Двуглавый орел под ней венчает раму, в которой Петр Первый с женой Екатериной. А под портретом крепко стоит трон. Зияет пустотой. Табуреточка под ним на львиных лапах. Ноги ставить.

— Малый тронный зал, в честь Петра Первого названный Петровским, декорирован архитектором Монфераном... Мальчик, прими руки с каната! Это ваш ребенок, гражданка? Так и следите за ним, чтобы волю рукам не давал!

Мама сердито тащит меня из зала в зал.

— После отречения царя, — говорит тетя в кителе, — здесь, в Малахитовом зале, заседало Временное правительство. Сюда, в ночь на 26-е октября по старому стилю ворвались взявшие штурмом дворец рабочие, солдаты и матросы под руководством Ленина и Сталина. "Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!" — кто не знает этих бессмертных строк Маяковского, лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи. Арестом Временного правительства вот в этом, товарищи, зале и началась

новая эра в истории человечества, эра, в которой нам с вами выпало счастье жить!... — Пауза. — На этом наша экскурсия по залам героического прошлого заканчивается. Вопросы по залу? Тогда, товарищи, прошу организованно...

Бравый офицер выступает вперед.

— У меня уточнение, товарищ экскурсовод.

— Слушаю вас, товарищ капитан.

— Малахит с Урала будет?

— С Урала, да. Колонны, пилястры и камин, товарищи, покрыты нашим великолепным уральским малахитом. Обратите внимание на его цвет. Он теплый и холодный — одновременно. Этот сорт называется "шелковистым".

— Паркет из чего сработан? — Группа оборачивается и осматривает насупленного детину, задавшего вопрос. Под этими взглядами детина раскаляется докрасна, и тогда все опускают глаза на паркет, о котором спрошено.

Узорчатый, он широкими черными стрелами разбегается из-под ног во все стороны.

— В оформлении паркета использованы ценные породы дерева. Такие, как, к примеру, орех, пальма, амарант, акажу и этот, как его... Эбен!

Взрыв хохота. Его тут же зажимают, но толпа уже расступилась вокруг тех, кто его произвел. В самом центре полового узора корчатся в конвульсиях две гражданки. Они держат друг дружку под ручку, зажимая себе рты, но никак не могут перестать. Поверх обветренных рук глаза их выпученные слезятся мольбой о пощаде, но тетя в кителе сводит хмуро накрашенные брови.

— Не вижу в этом ничего смешного. Эбен, товарищи, это черное дерево из семейства субтропических, вот и все. Прошу прекратить! Вы не в комнате смеха, гражданки, а в Государственном Эрмитаже! Идите, товарищи.

Мама таскает меня за товарищем капитаном, которому тетя в кителе на ходу объясняет, что обычно подобные припадки с повышенно-возбудимыми посетительницами случаются в античных залах — перед мужскими статуями. Но чтобы в Малахитовом? Нет. Это в ее практике первый раз. Совсем озверело бабье. Она вздыхает:

— Война!..

Офицер с пониманием кивает.

Залы мелькают в обратном порядке. Вот снова Малый тронный. Я оглядываюсь.

— Стой!

Но, вырвав руку, я уже бегу. Еще мгновение — и врежусь в бронзовый стояк, сквозь головку которого пропущен заградительный канат. Оскользываясь, я беру правее и спасаюсь. Канат взлохмачивает мне макушку, и за спиной все, кроме мамы, разом стихают.

— Сынуленька, вернись!

Но я уже под куполом. На табуретку, а потом, за лапу трона ухватясь, коленом — на сиденье! Под мамин "ах!" — там, где-то за спиной, усаживаюсь вольно, раскинув руки, — под синезолотыми звездами. На мне одни носки. Валенки с галошами по пути я потерял, и пусть. Кружится голова, плывет, сплывает там, за канатами, пятно: народ. И он — безмолвствует.

И только тетя в кителе:

— Неслыханно! — кричит. — Нет оправданья хулиганству! Милицию сюда! Пусть мать ответит!..

— Сынок!..

Офицер с золотыми погонами решительно ныряет под канат. Сияющие сапоги его изуродованы тапками. Бесшумно он подходит к ступеням. Он усат. Поперек лба морщина.

— Не дури. Посидел и будет. Ну?

Я забиваюсь в угол. Врешь, не возьмешь... Щекой — в шитье

золотое, в нашитого на спинке трона орла двуглавого.

— Тебе, брат, баловство, а мать расплачивайся? — Утерев лоб, офицер начинает подниматься ко мне по бархатным ступеням. — Не дело, брат. Ты кем это себя вообразил?

Р-раз! и отрывает меня от трона.

— Пусти, дурак! — кричу я, бясь, как птица под звездным куполом Империи, и все — орел, корона, купол — оплывает вдруг в слезах горячих. — Убили!

— Не убили, а низложили, — говорит офицер, пригибаясь, чтобы поднять мои валенки.

— Нет, убили, убили! Батюшку-царя! С наследником Алексеем! Мальчика больного! У него кровь голубая, а вы?! — Я захлебываюсь гневными соплями. — А вы из "Маузера" в упор! Звери вы! Пусти! Фашис...

Мне затыкают рот.

Все разбегаются перед офицером, уносящим меня из Зимнего дворца. Я рвусь назад, над погоном колючим, — залы убегают, один за другим. Взмахивая руками, как на льду, несется мама, а за ней уже отстала тетя в кителе. И еще выдвигаются залы, и вот она уже вдали, как в перевернутом бинокле.

Мои руки скользят по круглой стене Главной лестницы.

Уносятся статуи галереи Растрелли, а потом меня утаскивают вниз, в подвалы мраморные раздевалок...

На морозе я прихожу в себя. Под сапогами несущего меня офицера визжит снег, и в свете удаляющегося дворца радужно сияют оледенелые деревья. Ухватываясь за прочно прибитый к плечу погон с четырьмя звездочками — не выпасть бы из рук, — я притираюсь щекой к шершавой шинельной груди.

Рядом с нами всхлипывает мама. То и дело ее рука с платочком выныривает из черной муфты.

— Вы нас куда сейчас, товарищ капитан? — с тревогой спрашивает мама.

— Куда прикажете, мадам?

— Тогда уж мадемуазель, — слышу я сырую улыбку. — Знает, арестовывать нас с ним не будете?

Капитан останавливается, как вкопанный.

— Вы за кого меня принимаете? Я — армейский офицер!

Мы идем дальше, и он начинает смеяться.

— Вы о чем?

— Да так... Ребенок был резов, но мил — так, кажется, у Пушкина? Такое, кстати, я уже слышал. В Сорок Пятом, в Югославии. От эмигранта одного. Между прочим, князя. Но чтоб младенец формулировал, как недобитый монархист!..

Капитан хохочет.

— А все дедулины уроки! — Мама заглядывает мне в лицо, я притворяюсь спящим. — Больше ты у меня в Большую Комнату не пойдешь!.. Дед у него.

— Ясно, — подбрасывает меня капитан.

Мы стоим у стен Адмиралтейства. Снег замел горки пушечных ядер, забил жерла мортир за чугунными цепями. Мама выстучивает каблучками меховых своих "румынок". Троллейбуса все нет. Тогда капитан вдруг закладывает два пальца в рот, отчаянно свистит, и вот уже к нам подъезжает роскошный черный "ЗИМ"-таксомотор.

— Вы что? — пугается мама. — Нет-нет. Мы на троллейбусе.

И она садится к нам в "ЗИМ".

— Куда? — спрашивает шофер.

— Сейчас нам скажут, — говорит капитан.

Мама молчит, тогда говорю я:

— К Пяти Углам.

— Давай, друг!

И мы едем. Огибаем сквер Адмиралтейства и выезжаем на залитый огнями Невский.

– А знаете что? Давайте-ка распишемся.

Мама смеется.

– Как? Так вот сразу и?..

– Ну, а чего? Ведь все же ясно.

– Кому? Я ведь о вас не знаю ничего.

– Чего там знать? Родился на берегах, но не Невы, а Енисея.

Поехал в Москву на инженера учиться – мобилизовали со второго курса Бауманки. А там, значит, война. От Белокаменной дошел до Вены – ни царапки. Нет, вру: таки ободрали мне шкуру, но так, пустяки. Хотел демобилизоваться – отказали. После войны изездил пол-Европы. Потом направили к вам, в Северную Пальмиру. В Бронетанковую академию. Кончу – опять куда-нибудь зарядят в диапазоне от Берлина до Пекина... Что еще? Ах, да! Фамилия Гусаров. Звать Леонид, а лучше Леня. А вас?

– Любовь, – смутилась мама.

– Ну, все! – вскричал Гусаров. – Судьба!

– Но у меня ведь сын вот.

– Усыновляем!

– И дочь еще... от первого брака.

– Удочеряем!

– Но товарищ капитан...

– Леня, то есть.

– Да, Леня... Вы же обо мне ничего не знаете? У меня, быть может, прошлое?

– Оно у всех сейчас. Итак, Любаша?

– Нет-нет! Я все должна спокойно обдумать.

– Все! Умолкаю до Пяти Углов.

– По-гвардейски, товарищ капитан! – сказал шофер. – Слушаем, под Сталинградом не были?

– Друг! – оборвал капитан. – Человек думает! – И он добавил: – Был.

Мама начала думать мимо черно-белых коней на Аничковом мосту, но когда "Зим" затормозил у черного провала нашей подворотни, подняла голову и сказала, что не знает что и сказать.

– Тогда я скажу, – решил капитан. – Свадьбу играем в "Астории".

– В "Астории" ни за что!

– Это почему?

– Сергей Есенин там повесился. Поэт.

– Поэт? Ладно... Как насчет "Европейской"?

Он бросил шоферу сторубливку "без сдачи", распахнул дверцу, выпустил маму и вынес меня.

– Вас ждать, товарищ капитан? – перегнулся шофер.

– Сейчас нам скажут.

И мы с капитаном сверху поглядели на маму, которая замесялась и махнула рукой:

– Езжайте уж!

И "Зим" уехал. В метель. А капитан остался...

ПОЭЗИЯ



Виктор Кривулин

НОВЫЕ СТИХИ

ПИРАНЕЗИ

*по медной пластине по дымно-коричневой тьме
гуляет со скрежетом коготь орлиный
гравер-итальянец полжизни курлыча в тюрьме
царапая доску растит крепостные руины*

*эскарпы и рвы, равелины, сухой водопад
разрушенной лестницы, волчьих замшелые своды
и как по камням немолчно лопаты стучат
и что сумасшедший щебечет рассыпав крупницы свободы*

*по выступу – выступу в нише окна
откуда не свет – излучение пыльного знака
аршинная фраза на чадном листе полумрака*

*хотя поневоле, но тысячу раз прочтена
железисто-слезным чтанием – точно слепую,
молитву на воле звучащую всеу*

*ведут, захвативши под руки, заводят
на зубчатый гребень, и где оборвется стена
провалом сознания – заговорят о свободе:*

*свободна! ступай! и в плечо – отпуская – толчок
шагнет – и восхищенный будущей колымою
художник Тюрьмы разрывая с телесной тюрьмою
парит над веками и счастлив еще, дурачок*

* * *

Господь со знаменем – воинственный Господь
доспехи на святых, над ними – орифламы
их копыта прободающие плоть
их огнедышащие раны

приходит войско приступом беря
московский вавилон парижскую блудницу
содом нью-йорка и – по манию Царя –
всемирный рим, последнюю столицу

ступают конь по выжженной земле
тягач ползет по застекленным травам
здесь люди жили в мерзости и зле –
и вот над нами Серп Господней Славы

ЧТО ВОЗНЕСЛА

что вознесла дрожжевая народная мощь
из человеческих кирпичей?
каменноугольный сталинский хвост
энергоузел нервных лучей

сколько лет казалось: она мертва
эта сила – а мы живем
но строительство исполинского существа
нас держало во чреве своем

контуры тела зримые изнутри
туманности внутренних городов –
уничтожь их, а память о них сотри –
ничего не изменится в нас

сколько лет в ожидании жизни живя
внутриутробным светом светясь
слышали крик надежды – но как же я
не родился? и родина ведь не родилась

всем чужая разрыхленная москва
окуджава с его грустью
куда-то едет а голос едва-едва
внутренний голос, босой

соразмерен сердцу и так же слаб
в таком же драме пальто –
нечеловеческий непредставимый масштаб
строящегося Ничто

снова его поражает – и он
дородовым завитком
свертывается в низжайший поклон
с горечью горькой под языком

ПОГОДА, ВОЗРАСТ

погода возраст возрастанье злобы
в агонизирующем воздухе зимы
когда бы тьма! но тьмы и тьмы и тьмы
и темен транспорт узколобий

локтем заденет задницей раздавит
но я привык – не обижаюсь, не верчусь:
общение с народом не рождает
ни светлых мыслей ни высоких чувств

оно такое тесное – такое
телесно-ощутимое когда –
когда повеет тютчевской весной
от человеческого тронутого льда

ведь ничего в ответ не встрепенется
ничто не вспомнится в надышанной груди
и если будущее все-таки вернется
то все в слезах, то – нет, не впереди –

оно тихонько станет за спиною
притиснутое, бывшее, иное

НЕ ОБЪЕХАТЬ

не объехать по мистической кривой
холм годов безыллюзорных
с подпаленной кое-где травой

смотришь на небо – крупитчатое, в зернах
словно дурно отпечатанное фото
влажно шелестит над головой –

смотришь на небо – откуда я? да вот он,
в толпах продуктовых сам не свой
в давке, в потеплении животном:
около торговли угловой

разве жизнь действительно просторна?
разве жизнь действительно? работа? –
развяжись! оставь ее, чего там:
лучше сдохнуть непритворно

чем прикидываться что живой –
смотришь на небо, и в ожидании горна
задран подбородок и развернут

треугольник локтевой
острием на радужные сосны
на закат порфириноносый

ПАСТОРАЛЬ

непраздничная праздность и свирель
овечьи дни в загоне у недели
но есть ограда – и найдется щель
найдется щель – и полоснет по щели
звездообразно-солнечный клинок

преследование дивной цели –
пускай земля не осязает ног
ступающих по безымянной цвели
ее болот, асфальтовый поток
пускай течет, пускай лежит маршрут

как мертвая змея, на службу и обратно –
душа взвизгивается захлестывая кнут
на шее петербургской акварели
над бывшим городом – но это высший труд
предпраздничный, невероятный!

КАКОЕ БУДУЩЕЕ

какое будущее вспыхнув озарится
в цепях аллегорических картин
и разве будущего исподволь хотим
когда о будущем о будущем твердим
его разыгрывая в лицах

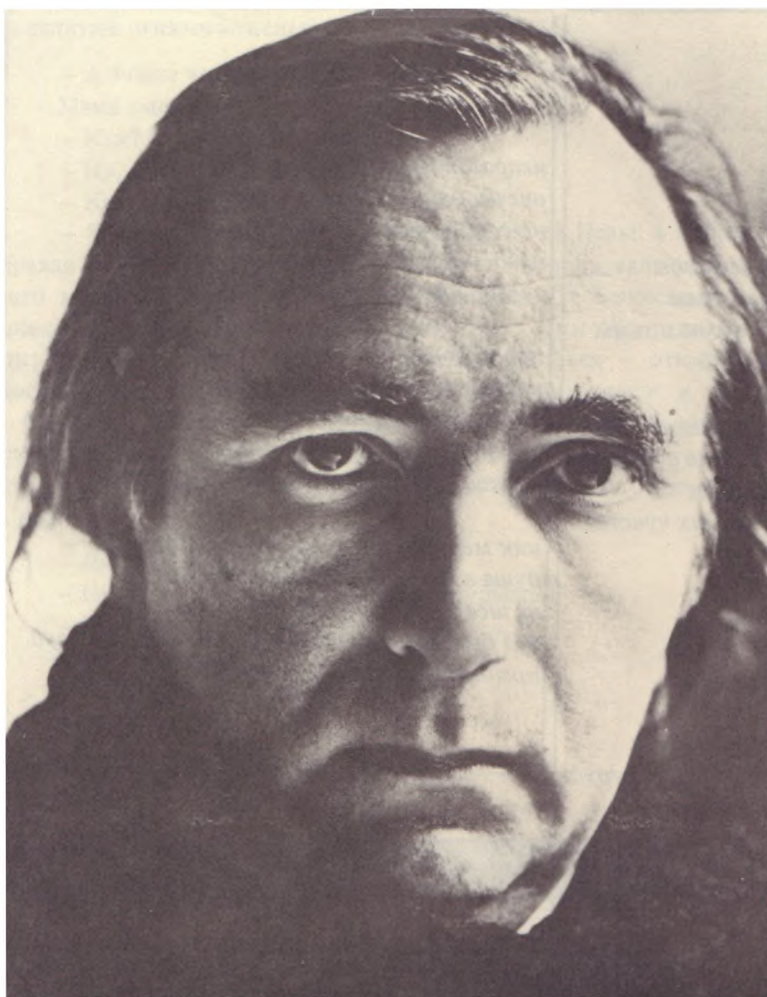
возможно все: и увяданье здесь
и очарованное бегство за границу
играют молча синие зарницы
но грянут фиолетовые птицы
прощальный гимн – и ты исчезнешь весь

ничто не погибает беспричинно
но выбирая между двух смертей
бубня о будущем о будущем детей
и что вокруг пустее да пустей
я вдруг почувствую: действительно
пустынна

вся область голоса где эхо леденя
отскакивая от оконного стекла
стучит по мостовой (она белым-бела)
и собеседники с которыми свела
судьба – не люди но идеи

живых людей когда припоминая
их интонации едва ли узнаю
известные слова – прозрачная, сквозная
беседа – как наверное в раю
текла река общенья неземная

но это не вмещается в мою
пустую речь которую пора
прервать, и верно – прерываю



Лев Наврозов

Лето деревенское и лето господское

рассказ

Мне были в жизни два лета, одно деревенское, когда мне было уже семь лет, а другое господское, когда мне было еще шесть.

— Саргиджан снял нам дачу, — сказала мама. Что это значит, нельзя было себе и представить даже в моем преклонном семилетнем возрасте. Я говорю в преклонном потому, что разница между пятью, шестью и семью годами от роду такая, что в пять лет — это детство, шесть — юность, а семь — преклонный возраст, как бы хмель жизни сошел, и когда у мамы убежало молоко, я спросил: "Сколько, ты думаешь, миллиграммов убежало?" "Откуда я знаю?" — закричала она. "Ну, примерно?" — сказал я примирительно, с почти старческой рассудительностью ученого на грани достижения фаустовского счастья-смерти. Дачу я, правда, представлял себе смутно, как домик из щепочек, наверно, крошеч-

ный, если Саргиджан его нам снял, как пенку с молока. Но оказалось совсем не то.

Этот Саргиджан будет, возможно, всемирно известен в следующем тысячелетии, поскольку он жил в одной квартире с бессмертным Мандельштамом. Естественно, бессмертный Мандельштам ожидал, что его сосед Саргиджан встанет перед ним на колени и поблагодарит за счастье жить в одной с ним квартире, ибо и в третьем тысячелетии имя Саргиджана, возможно, будут помнить потому, что жил он в одной квартире с бессмертным Мандельштамом. Но в жизни так не бывает. Никто не думает о том, что будет в следующем тысячелетии. Поэтому пока что, в этом тысячелетии, между Саргиджанами и Мандельштамами произошла квартирная ссора оттого, что Саргиджаны, мол, желали белье вывешивать сушить на кухне, а Мандельштамы никак этого не желали и даже будто сам Мандельштам это белье, притом якобы женское, нет, тогда не говорили женское, а дамское, дамское это белье он якобы с веревок сорвал и на пол бросил, сказав: "Это профанация женственности". Но я это так, больше для третьего тысячелетия, а в то время мнения разделились. Одни хмыкали в том смысле, что и белье сбросить можно, если при этом сказать удачное писательское *bon mot*, а другие плачущими голосами спрашивали, что же такое будет, если все писатели начнут друг у друга белье сбрасывать? Но так или иначе, квартирная эта ссора явилась началом или одним из начал конца жизни Мандельштама на этой земле. А когда Саргиджан снимал нам дачу, как снимают с молока пенку, Мандельштам бессмертил свою ссылку, но только пока что его в Москве не стало, а с глаз, говорят, долой, из сердца вон, и даже квартирную ссору относительно права сушить белье на кухне стали забывать. Саргиджан же существовал у всех на глазах, а потому и в сердцах, но только у него не было средств к существованию, и он играл в карты с господами-писателями, которым он снял дачи. А негласное правило было такое: если он выигрывал, то ему платили выигрыш, а если он проигрывал, он ничего не платил, потому что говорили: "Им есть нечего". Карты у него были чудесные, такие маленькие и красивые, а теперешняя жена его Дуня была местная, деревенская, и все говорили: "Красавица". Но в третье тысячелетие она никак не попадет потому, что ведь это не ее белье бессмертный Мандельштам, якобы сбросил, а в то время я увидел сначала карты, но не видел красавицу Дуню, и я думал, что красавица Дуня такая маленькая, подстать картам, но это оказалось не так, и красоты ее я не помню, и я смотрел на нее и думал: "Им нечего есть". Красавица Дуня не могла работать по крестьянству потому, что ее бы засмеяли в деревне: за барина-писателя вышла, а в земле ковыряется. И в ней было что-то восковое, и в Саргиджане было тоже что-то восковое, и даже в их маленькой девочке было что-то восковое. Им как-будто и вправду было нечего есть и, может быть, ему проигрывали в карты невольно потому, что было совестно смотреть на то, что они восковые, краше в гроб кладут, ходячие мощи, и мне казалось, что волосы у Саргиджана вылезли от голода тоже, а говорил он как бы от голода всегда тихо, и улыбался он немного как череп и кости, изображаемые на столбах.

Мама считала, что Саргиджан снял нам дачу, чтобы обыграть папу в карты, но вот каков промысл Божий: то ли благодаря картежному умыслу Саргиджана, то ли нет, а мне было деревенское лето.

Бог создал много разных чудищ и чудес, и ему же принадлежит творение, называемое русской деревней, а деревня называлась Старой Рузой, да нет же, черт возьми, не Старой Руссой, которая изображена в "Братьях Карамазовых", а Старой Рузой — Рузой, не Руссой.

Сначала представьте себе, что земная твердь размуравлена рекой надвое, на два мира. Один мир это наш мир, крутояр,

это где мы живем, высоко-высоко, это наша Старая Руза, а другой мир — за рекой, далеко-далеко, семь верст до небес и все лесом, и леса сшиты из клиньев, все голубени, просини и зелена на свете, с червонным золотом и без, и там, говорят, водятся и змеи.

А река детская, детская река, река для детей, семилетнему в одном только месте по шейку, а большей частью по колено. Но что ж, раз детская река, то Бог не замыслил ее серьезно? А вот и нет: детская река, но настоящая, широко раскинувшаяся и далеко видная, с излучинами и всем, что полагается, а такой чистоты, что и песчинка, поднятая со дна, медлительно сверкает в зените золотоносной гранью. Это ж надо выдумать такое. Детская река, семилетнему по колено, а идешь сквозь все речные чудеса — быстрины, стремнины, заводи, перекаты, а под ними пляшет, темнеет, светится дно, водоросли попадают бархатно, лапчато между пальцев ног, а песчинка, поднимаясь, медлительно сверкает золотоносной гранью.

Мы городские, мы господа, мы живем зимой в городском господском мире, где не надо топить печь, а вода льется из крана, где роскошные трамваи везут нас в роскошные магазины, которые ломаются от невиданной господской снеди. Мы утопаем в вечно безумной роскоши, мы проводим жизнь в вечно праздничной праздности, сидя в наших дворцах в суше и тепле, в теньке и прохладе, и называя это работой. Мы приезжаем к ним летом, как богачи-туристы. Это и называется снять дачу.

Поднимаются на гору с каменоломни на излучине реки груженные светлым рыжеватым камнем телеги.

— Массовый Сизиф, — говорит барин-писатель по имени Август, которого все зовут либер Августин, потому что была такая песенка: "Ах, ду, либер Августин, Августин, Августин".

Возничие и лошади похожи друг на друга, но лошади бесслесно тянут, безнадежно останавливаются, иногда покорно падают в оглоблях, а возничие свирепо их понукают, крича дикими, протяжными голосами, истязая, может и убивая. Но ведь это все экзотика, это их жизнь, не наша. Мы снимаем дачу. Мы приехали на лоно природы, хотя Август в разговорах вступает за лошадей, ах, ду, либер Августин, Августин, Августин.

Разумеется, на крутояре, на юру, стояла церковь-церква-церковка, и разумеется она была как руина после вражеского вторжения. Из города пришли враги под названием комса. Куда ж деревне против комсы? Комса как марсиане в романе Уэллса, которого тогда читали. У них машины летают и плавают, а есть и такая машина, что одна всех в деревне перестреляет, охнуть не успеешь. "Воскресенье из мертвых?" — марсиански заржала комса. И могильные серые камни кладбища под высокими соснами комса выворотила и разбросала рядом на полянке, и они уже заросли травой, мелькая в ней, как серые бабочки. Черт знает, какая чепуха лезет в голову: выворачивала ли комса могилы наугад или выбирала могилы врагов до седьмого колена? Сейчас я думаю, как хорошо быть похороненным так близко к небу под беззвучную музыку собравшихся на века сосен. Но тогда слово кладбище не значило ничего, кроме глубокой тени, серых каменных бабочек могильных плит, и раз мы забрались на колокольню церкви-руины, откуда видны еще дальше семь верст до небес и все лесом, и даже каменоломня на излучине реки.

Да уж есть ли что счастливее деревенского лета? Оно открыто на все четыре стороны, оно ежедневно поднимается, как солнце, и бесконечно, как день, а завтра, о завтра, великолепное завтра, мы перейдем вброд все чудеса из воды, гальки и бархатных водорослей, попадающих лапчато между пальцев, а песчинка, поднимаясь, медлительно сверкнет в зените золотоносной гранью.

А все же господское лето не хуже.

— Барбизон, — легко как листьям лететь, сказал папа, и дышать мне не больно.

— Барбизон, — сказал папа, как бы трижды ударив по невидимому камертону и прислушиваясь к чистоте трезвучия. И в ответ на удар по невидимому камертону, вселенная сложилась в гармонию (я только что узнал слово гармония), и ощущение овладело мной, словно мы сами были в барбизонской картине, в застывшей навсегда красоте, как пыльца на крыльях бабочки.

У барбизонцев на картине лесистые горы, а где-нибудь в одном углу человечки были мы, я был с мамой и с папой, мы умрем все вместе, не может быть так, что они умрут раньше меня, а сейчас мы были живы, мы жили, мы были все вместе внутри барбизонской картины, и папа был трезвый и легкий, как листья, как жить и дышать мне не больно. На одной из барбизонских гор мы увидели Одоево, господский дом из серого камня, но выбеленный везде, кроме плит террасы, а по верхним карнизам террасы ласточки вили гнезда.

Хозяева-господа давно сгинули, мы были новые хозяева-господа. Мы были их убийцы, мы были узурпаторы, завоеватели, грабители. Господский дом теперь назывался безвкусно домом творчества писателей. Но дети убийц, узурпаторов, завоевателей, грабителей уже были невинны, безвинны, неповинны. Кровь была давно замята, жертвы похоронены или умирали, роя золото в далеких степях Забайкалья и доживая свой век швейцарцами в Париже.

А в их старом господском доме все было по-старому-бывалому. Ласточки вили гнезда по верхним карнизам террасы. Свежая, как яблоко в описании молодого графа Толстого, краснеющая красавица Катя, которую новые господа легкомысленно прозвали Катюшей Масловой, стучалась в дверь и говорила, что кушать подано, а обед состоял (к моему благоговейному ужасу) из множества блюд, но некоторые господа (к моему еще большему благоговейному ужасу) ничего не ели, а барственно пили вино и острили, и в моей памяти осталось барское пиршество ума.

На стене в столовой висела картина "Ночной Париж", и никто тогда еще не удивлялся, что подлинник. Что ж, у господ в столовой всегда висят картины, не копии же. А одна барыня-госпожа блажила живописью, живописала, живо писала, и дала мне тоже бумагу и краски.

Это мне было знакомо. Как сон, вспоминал я наш темный коридор, одна только желтая лампочка наверху, там, далеко, в городе, в Москве. И он и вправду мне снился.

Наш темный коридор, одна только желтая лампочка наверху, и Нина, соседская девочка на костылях, не то идет, не то падает, и руки у нее запутались в костылях, как у летчика Нестерова.

Летчик Нестеров? Нет, это не сон. Мы столпились вокруг, мне ничего не видно, но потом открытку поднимают, чтобы все могли посмотреть, и я вижу, он лежит навзничь, руки у него запутались в крыльях самолета, а на лицо я не хочу смотреть от страха.

У Нины две синих краски, синяя и синяя-синяя. Черных тоже две. Мы все краски складываем в одно место, на угол длинного ящика из-под посылки, и все садятся за него, и каждый спрашивает, какую краску ему надо.

— Мне черную, как нефть.

Зачем я ловил стрекоз и клал их в банку под марлю, если они бьются и ломают крылья, как летчик Нестеров?

Во сне стрекозы превращаются в летчиков, как Нестеров, или даже раньше, когда к рукам привязывали крылья, и они бьются и ломают их. Нестеров лежит навзничь, а руки у него застряли в крыльях, и лицо неподвижно, но подойдя ближе, я вижу, что он беззвучно рыдает, и сам я не могу смотреть на него из-за слез.

— Мне черную, как нефть!

Нельзя просто рисовать, а надо и восхищаться. Но бывает,

что сколько ни восхищайся, а сосед не обращает внимания, и тогда приходится спросить у него прямо: "Красиво?"

Ответа может быть только два.

Или сосед долго смотрит, склонив голову, и на лице его появляется всегда одинаковое выражение наслаждения, которое он высказывает всегда одинаковым образом:

— Кра-с-с-и-и-во!

Или, бегло взглянув, он произносит назидательной скороговоркой:

— Не красиво, а псиво.

Наступает тишина. Все смотрят на обиженного. Тот поднимается, гремя ногами о ящик, подходит к краскам. Все знают: он возьмет свои. Его — черная, как нефть. Нина вдруг говорит: "Забирай, пожалуйста". А что если, правда, можно рисовать без черной, как нефть?

— Черная, как нефть, — напоминает он угрюмо.

Но Нина произносит свое неизменное отлучение:

— Катись колбасой.

И ему кажется, он — огромная колбаса, и она катится.

Но, конечно, все это было далеко-далеко, почти как во сне, смешавшись, смесившись со снами.

Во-первых, господа не рисуют, а пишут. Живопись. Природа. Искусство. На барском балконе господского дома я пишу пейзаж, с барыней-художницей. Это вам не ящик из-под посылки, это вам не сон с желтой лампочкой наверху, это вам не катись колбасой.

Госпожа художница живописет масляными красками, к которым детям и прикасаться нельзя, потому что если посадишь пятно, то нельзя отстирать, так и будет пятно навеки. Поэтому она дала мне такие же краски, как у нас в коридоре, а называются акварель, какое слово, прямо как свирель, цветные лужицы и озерца акварели, которые высыхают, становясь менее красивыми, и поэтому я кистью все время мочил лужицы и озерца, чтобы поддержать их мокрый вид, чтобы они были, как акварель.

Я помню прекрасно пейзаж, который мы вместе живописали с барского балкона. Усадебные службы, а за ними деревья. Мое восхищение ее произведением было неподдельным и немым. Я считал, что оно превосходило "Ночной Париж", хотя и не дотягивало до барбизонцев и лаковой открытки у меня дома, где дамы и господа катались в длинных лодках по озеру, и нам казалось мы можем даже различить набалдашники их зонтиков. Но барыня-сударыня, разумеется, сказала, что, наоборот, ее произведение никуда не годно по сравнению с моим. Какое счастье, что тогда была самая мода открывать Ван Гогов в шестилетних. Какое счастье, что я ей нечаянно угодил. Какое барское счастье.

Она была крупной цветущей барыней, рассказывающей ежедневно, сколько она прошла верст, чтобы похудеть, и когда она говорила маме с барской певучестью: "я влюблена в вашего сына", то это было тоже барским счастьем, конечно, как и все в этом созданном для барского счастья барбизоне, но и бременем, гнетом, даже опасностью.

Завидев ее издали на тропинке барбизона, я молил маму свернуть, чтобы не встречаться с ней. Барское счастье — это как мы, дети, строили что-нибудь, и все еле-еле держится, и тут мы хотим подправить, и все рушится. Ничего нельзя трогать, а то все рухнет. Нельзя с ней встречаться. Пусть все будет так как есть, а то никак не будет. Слишком много счастья. Тронешь его, и все потеряешь.

— Да ты просто психопат, — говорит мама. — Настоящий психопат.

Поездка в Одоevo была сделкой. Если я соглашусь провести два месяца в детском саду (о котором я уже знал, что он не сад, и не детский, и не детский сад), то первый месяц я буду жить с папой и мамой в Одоevo. Два месяца неволи за месяц барского счастья. Но счастье следовало раньше, а я, как папа, никогда не

думал о том, что будет потом. И желая склонить весы моего решения, мама сказала, что в Одоevo я буду купаться в речке. Я никогда не купался. Я мылся один раз в декаду (тогда недель не было), а именно, стоял ногами в лохани, и меня поливали водой. А что значит купаться? Я видел речку, и мы с мамой через нее даже переезжали на лодке. Но купаться в речке? Невозможности этих неведомых новшеств я не мог противостоять. Я согласился.

И вот теперь я прозрачно намекаю, что в сделку входило невозможное купание в речке. Оказалось, что господа не купаются в самой речке, а купаются в купальне. Я принял это за сословную данность. Кроме того, детям разрешается первый раз купаться одну минуту, потом больше, и так до восьми минут, и это было тоже барственно мудрым. Рай на земле должен быть самоограничен, а иначе он обернется адской скукой.

Рай на земле представлял собой купальню, плещущий темный и светлый с золотом прямоугольник живого вещества, нежности, смеха и небытия. К нему вели три ступени. В рай не попадают, а блаженно сползают по трем ступеням, уже не в состоянии двигаться от счастья, опускаются в глубину узнавания, падают в изнеможении в объятия живого вещества, нежности, смеха и небытия.

И это только одна минута — шестьдесят секунд пребывания в раю, и кажется, если б еще одна минута. А если бы восемь минут. Да такое нельзя и вообразить. Но и восемь минут, оказывается, не длятся, в них нет времени, в них только живое вещество, нежность, смех и небытие.

Увы, и в барском счастье бывает червоточина. Барыня-художница решила, что ходить по барбизонским тропинкам ей для похудения недостаточно. Какая измена барству. Я всю жизнь вздрагиваю при слове "физкультура". Тогда, в возрасте шести лет, я проникся к нему отвращением сразу и на всю жизнь. Барыня-художница решила заниматься — я еле могу написать это — физкультурой, а чтоб ей было не скучно, мы, дети, должны были повторять гримасы ее тела.

Возможно, физкультура полезна для тела, как медицинская процедура. Барство состояло в том, чтобы не показывать миру то, что безобразно. Только всемирное мещанство могло превратить медицинскую процедуру в открытое зрелище. Смотрите, как я слежу за своим здоровьем, как я приседаю десять раз — десять бессмысленно одинаковых гримас, полезных для моего здоровья.

Детский стыд. Детский страх. Детская застенчивость. Детские запреты. Искорените их, и вы искорените род людской.

В Москву приехала из деревни Настя. В платке, потому что нельзя же платок при чужих снимать — опростоволоситься, значит. Над ней стали смеяться. Она сняла платок при чужих — и спилась, пошла по рукам, связалась с ворами. Если платок при чужих можно снять, то чего же нельзя? И есть друг друга можно. Ведь запрет людоедства — предрассудок, вроде запрета снимать платок при чужих. А человеческое мясо, может быть, полезно для здоровья, как физкультура.

Детский стыд. Детский страх. Детская застенчивость. Детские запреты. Как вы мудрее толстенных книг. Как вы опытнее многоопытных старцев. Когда их искоренят, род человеческий прекратится.

Я не являлся на совместные гримасничанья в целях всеобщего здоровья. Я чувствовал себя преступником — я отплатил ей злом за ее добро. Я скрывался от карающих глаз барыни, занявшейся страшными телесными гримасами на виду у всех ради похудения. Ее лицо казалось мне бурей, я даже видел желтый мстительный свет солнца перед грозой, она испепелит меня своим барским гневом, а мама объясняла ей мое нежелание участвовать во всеобщей физкультуре:

— Он просто психопат. Настоящий психопат.



ПИК КОЗЛОВСКОГО

Такое впечатление, что американские слависты (кроме них вроде бы и некому на Западе) еще не взяли за осознание последнего по времени тектонического явления, преобразившего рельеф нашей литературы на переломе от Семидесятых к Восьмидесятым: я имею в виду романский взрыв исхода этой серой брежневской эпохи. "После Брежнева", как мы видим, не оправдались даже самые нетребовательные надежды, так что, кажется, пора уже подводить итоги процессу романообразования, который воздвиг позади нас целый горный хребет. Не претендуя на общий обзор, сосредоточим внимание на романе Евгения Козловского "Мы встретились в раю..." — одном из пиков этой цепи.

Написанный в Москве в 1978-80 годах (и вышедший в издательстве "Третья волна" в 1983-ем), этот роман — одно из самых впечатляющих достижений новейшего поколения русской прозы. Несмотря на то, что мы, дебютанты 70-х годов, остаемся по преимуществу поколением "малых форм", несколько романов на нашем счету есть. Их можно пересчитать на пальцах одной руки, сравнить, сопоставить, выделить типологические черты, общие для сверстников по обе стороны границы;

но нельзя не признать, что среди этих романов наиболее полнообъемный — Козловского. "Панорамным и телескопическим" свидетельством о жизни интеллигенции Семидесятых годов назвал эту книгу Василий Аксенов (которому попутно воздадим должное за внимание к молодым и отсутствие "возрастных" комплексов. Столь нетерпимый к "отцам" и к официальному тезису об "эстафете поколений", в качестве отца литературного Василий Павлович ведет себя поистине, как старший брат, — свойство для его ровесников далеко не общее). Рекламные слова о романе Козловского, как о "книге десятилетия", отнюдь не продиктованы соображениями рынка. Но, чтобы не запугать потенциальных читателей-эмигрантов, я не стану здесь множить глобальных эпитетов вроде "мемориал безвременью", "энциклопедия безысходности" или, если хотите, "эпопея несуществования", а выражусь предельно скромно: это интересно.

"Только обстоятельность может быть интересной", — сказал Томас Манн. Если же склонный к всеобъемлющей скрупулезности автор обладает еще и виртуозностью романиста, толстые книги становятся просто увлекательными — и это случай Козловского. "Безусловно, моим призванием всегда была режиссура. Режиссура в смысле конструирования, выстраивания большого целого. Даже за этот, такой важный, такой личный для меня роман я с удовольствием усадил бы несколько умных и способных людей, оставив за собой разработку общей конструкции да художественные решения каждой главки". Это признание героя (внутри романа Козловского пишущего свою прозу) определяет суть дарования автора. Если для Александра Глезера, издателя и автора напутственных слов к "Мы встретились в раю...", сомнений нет, что в "современную русскую литературу пришел новый большой писатель", то я бы добавил: да, и писатель, в высшей степени наделенный романским мышлением. И к тому же (бесценное совпадение качеств!) не обделенный чувством языка. "...Если и можно было отыскать в романе какое-то сквозное действие, сквозное движение, то поиски следовало сосредоточить как раз на изменении тона, интонации, если угодно, — стиля, от первой главы к последней. Такие поиски тем более были бы закономерны, что ставили сквозное действие вполне в соответствие со сверхзадачей, которую можно было (приблизительно, как и любую сверхзадачу) сформулировать так: попытка обретения свободы". Самый пристрастный критик романа "Мы встретились в раю..." — сам автор, и далее он перечисляет "изъяны" (мы бы сказали:

"особенности") своего прорыва и творческого разгула на воле: "Изъяны такого пользования свободой можно было увидеть и в некоторой переусложненности конструкции (реакция на образцы социалистического реализма...), и в определенной перегруженности его коитусом (реакция на супер-целомудренную советскую литературу, герои которой размножаются исключительно почкованием), и в, может быть, чуть-чуть излишнем применении слов, которыми так изобилует советская речь и которых ни в одном советском словаре отыскать невозможно". Эта самокритика в предвидении, вероятно, реакции со стороны "викторянцев" русского Зарубежья, которому предстояло воспринять роман, уничтожается начисто следующим аргументом: "...В более естественной, нормальной, свободной обстановке роман этот, пожалуй, и не родился бы вовсе, ибо, в конечном счете, описывал исключительно отклонения от гуманистической нормы".

От вопроса "как?" мы пришли к вопросу "о чем?". Не составляя перечня "отклонений", можно ответить, как Сталину Пастернак: "О жизни и смерти". О советской жизни и смерти, выродившихся в нечто равнозначное абсурду. И о нелюбви, о которой в романе самые блестящие страницы — как, например, об акте нелюбви с Вильгельмовой в процессе вальпургиевой ночи, в инвалидном ее "Запорожце". Об агонии бессмертной пары любовников — Арсения и Лики, "Мастера" и "Маргариты" — на фоне мозглых московских суток, хронометраж которых, тщательно произведенный Козловским, выявляет тот факт, что к финалу брежневской эпохи "времени не стало". О поколении, наконец. "Лишь неразумный, отца истребивши, щадит ребятишек" — таков эпитафия к роману, 35-летнего автора которого, в виде исключения, не пощадили...

В контексте нашего новейшего (чтобы не сказать: последнего) литературного поколения судьба Евгения Козловского наиболее драматична. Все мы возникали по-разному из немоты. Способ возникновения Козловского был наименее лукав. Мне вспоминается одно из московских пересечений, минутный контакт... "Ну, как дела, старик?" — "Идут помаленьку, — ответил он. — Недавно вот в "Конте" повестуху пробил". — "Где?!" — "В Континенте" — у Вовы Максимова".

Это был не Козловский; так, подпольный хвостун, который, конечно же, "у Вовы" ничего не пробил, если и пытался. А вот Козловский взял и действительно напечатался в "Континенте" — из той самой Москвы. Сначала рассказ "Диссидент и чиновница", затем повесть "Красная площадь"

— не будучи при этом защищенным от властей ничем. Ни даже "пятым пунктом" (несудьба: по национальности русским оказался Евгений Анатольевич, сибиряком с ссыльно-польской кровью). В декабре 1981 года дебютант был арестован органами КГБ. По тогдашним условиям все же исключительная "мера пресечения" для писателя, свидетельствующая о серьезности его дарования. Ну, а с серьезным человеком всерьез и работают. Причем можно быть уверенным, что средства перевоспитания у КГБ не остались на уровне архаичных оруэлловских фантазий о крысах, в случае упрямства съедающих сначала лицо

человека, а потом мозг... "Он ответил тогда, что, во-первых, надеется собрать, скопить мужество, что у него *п о к а* не хватает смелости; во-вторых: неужели для того, чтобы видеть всеобщее подонство и говорить о нем, должно непременно быть абсолютно чистым самому — "Да и бывают ли такие люди?"; что, между прочим, кроме "верности общей подлости" он ничем особенным до сих пор не согрешил: ни предательством друзей, ни доношением (он намеренно подчеркивает слова "до сих пор", ибо не может знать заранее, что сумеет вынести, если ОНИ возьмутся за него всерьез); в-третьих, надеется напи-

сать книгу... где не будет ничего, кроме правды. Правды, которой ОНИ боятся как раз больше всего".

Это ОНИ еще раз и подтвердили, арестовав и за полгода сломав автора романа "Мы встретились в раю..." Удостоив Козловского "литературной" казни — приговорив к публичному отречению от пера — Они, по-своему, признали его заслуги перед свободной русской литературой. Признаем же их и мы.

Сергей Юрьенен



ЛАГЕРНЫЙ ДОН-КИХОТ

В течение последних десяти лет появилось очень много произведений на лагерную тему. Это стало расхожим местом. А что поделать? Лагеря в Советском Союзе существуют, их становится все больше, и талантливые выжившие писатели из бывших эзков передают в творчестве страшный опыт тех лет. Патриарх советской лагерной литературы Варлам Шаламов, отсидевший двадцать лет в сталинских лагерях, говорил о своих "Колымских рассказах", что это не беллетристика в обычном понимании этого слова, а протокол, то есть юридически точное и безжалостное судебное обвинение.

Михаил Jakobson, девять лет отсидевший в североуральских лагерях в уже посталинскую эпоху, написал свою первую

повесть "Карзубый" тоже именно как протокол — обвинение режиму, который в гигантской стране создал страну под названием ГУЛлаг, а о самой стране устами героя автор сказал просто и страшно, что здесь каждая деревянная вещь — от детских игрушек до домов покрыта кровью заключенных.

Тоненькая книжечка карманного формата читается взахлеб, единым махом, как самая захватывающая детективная повесть. Думается, что секрет успеха не в острой сюжетности произведения, хотя и она налицо, а скорее в остром его психологизме. Мотивируется каждый штрих поведения персонажей. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. В мире эзков волчья законы жизни доведены до крайней обнаженности, аксиомы бытия просты и ничем не прикрыты. Заключенные дорожной бригады получили от освобожденного бригадира несколько буханок незаконно переданного с воли хлеба, и это повлекло за собой тяжкое сплетение событий с несколькими убийствами и острыми переживаниями героев, главный из которых — старый лагерный волк Карзубый получает высшую меру наказания — расстрел.

Скупое, немногословное, с какой-то даже схематичностью идет повествование и вдруг с жуткой остротой дает понять, что советский лагерь — машина, где людей лишают жизни — ее цветов, запахов, простых человеческих радостей, где человек мало-помалу превращается в существо со звериной моралью и с единственной целью выжить, чтобы снова попасть в обычную жизнь к обычным людям. Только лагерная метка останется навсегда — ее не вытравить ничем.

Малая деталь в этой книжке обнажает суть, крошечная сценка скажет больше многотомных описаний. Солдатам, которые тоже, кстати, своего рода узники в этих лагерях, захотелось, хоть это и запрещено, чтобы эзки услышали по радио

новую пластинку — незатейливую песенку о любви. И эзки, замерев, слушают. Они потрясены, им кажется невероятным самое обыденное — ссора влюбленных. Когда женщина назвала в песне мужчину "мой родной", Карзубый, зная, что его никто не видит, заплакал. Он оплакивал неосуществленную мечту о женщине и всю свою загубленную жизнь.

Карзубый отсидел в лагерях двадцать пять лет и стал для лагерников ходячим кодексом чести, своеобразным лагерным рыцарем. Из массы выработанных эзками понятий о чести он твердо уяснил для себя и пронес до конца главный: "Волкодав прав, а людоед — нет", тот самый кардинальный закон не только лагерной жизни, но и жизни вообще, о котором писал Солженицын. Вот почему самые трезвые и разумные доводы опера не смогли вынудить Карзубого на предательство, несмотря на то, что речь шла о выдаче матерого убийцы Амбала.

Образ Карзубого выписан с присущим автору лаконизмом, беглой, уверенной линией. Он попадает в тюрьму с детства как сын врага народа и, как тысячи других становится уже изначально без вины виноватым. Дальше жизненная дорожка ведет из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь и так до могилы. Но характер проявился с первых шагов: как-то раз еще в тюрьме для малолеток Карзубый резко оборвал пытавшегося завязать с ним отношения опера. После этого случая его ни разу не спрашивали о других. Судьба обделила его всем — сколько он себя помнит в лагере, он всегда был голодным, никогда не видел ласки и не знал, что такое женщина и женская любовь. И вот старость еще не наступила, но пришла уже смертельная болезнь, ожидание смерти, а заветная мечта так и не исполнилась. Была же эта мечта трогательна и проста: Карзубый хотел хоть раз в жизни испытать, что такое женский поцелуй.

Но все получалось нескладно у этого

лагерного Дон-Кихота: хотел он по-хорошему обойтись с солдатами-конвойными, чтобы завязался разговор, а подвел их под топоры убийц-уголовников, замысливших побег из лагеря; не выдал, согласно лагерному кодексу чести, оперу побегушника, а побегушник этот убил крестьянина, оставив сиротами троих малых детей; мечтал перед смертью о женском поцелуе, а когда женщина его поцеловала, этого не понял, проглядел, думал, что это не поцелуй, а простое, как у мужчин, прощанье перед дорогой.

Тяжелая, беспросветная это повесть. Для Карзубого и его обделенной жизни самым важным было, чтобы заключенные, то есть люди, с которыми он жил и работал, делил последнюю корку хлеба, после

его смерти поминали его добрым, уважительным словом. А получилось наоборот — до эков дошла как раз ложная версия поведения Карзубого в побеге, а именно то, что он из корыстных целей сам убил Амбала. Крошечная надежда, что товарищи по каким-то деталям сами догадаются о правде, может исполниться, а может не исполниться.

Ложь густой сетью окутывает лагерь, липкой паутиной опутала она всю страну.

Один из прочно укоренившихся лживых мифов о том, что якобы лагеря были созданы для того, чтобы осваивать Крайний север, развенчиваются Якобсоном в его повести. Устами одного из героев он доказывает, что стоившие крови миллионов

северные города не нужны, ибо не могут ни прокормиться, ни самоокупиться. "Ничего там своего нет, не привези еды вовремя, и люди с голоду умрут". Север не доходен, а убыточен и его необходимо не развивать, а, наоборот, сворачивать.

"Карзубый" — первая повесть Михаила Якобсона. Она показала и глубину, и размах его таланта. Однако эта книга, как нередко бывает, может остаться первой и последней. По-настоящему пробным камнем становится вторая книга, а нередко и третья. Хочется верить, что автор находится в процессе осуществления новых замыслов, что его "Карзубый" лишь первая вежа большого и яркого писательского пути.

Майя Муравник

В издательстве «Третья волна» готовятся к печати следующие книги:

«ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ» — сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.

Ок. 170 стр. \$ 10.00

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» Роман

320 стр. \$ 17.50

«РУССКИЕ ПОЭТЫ НА ЗАПАДЕ». Антология современной русской поэзии.

ок. 230 стр. \$ 10.00

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ»

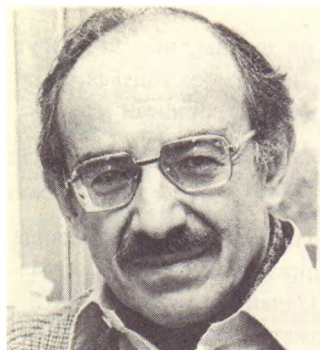
Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.

ок. 280 стр. \$ 17.50

ОСКАР РАБИН. Книга воспоминаний. Издание иллюстрировано.

ок. 300 стр. \$ 17.50

Михаил Геллер



Парадокс Платонова

Всю свою жизнь Андрей Платонов верил, что смерти нет. Он верил — не только в необходимость, но и — возможность в будущем — воскресения всех живших на земле людей. На наших глазах происходит воскрешение писателя Платонова. К читателю приходят его книги, вычеркнутые из списка живых, "зброшенные", казалось бы, навсегда. Судьба Платонова необычная даже в советской литературе. В середине 50-х годов соответствующие органы стали возвращать в литературу кое-кого из выброшенных ранее писателей, кое-какие из книг, совсем недавно еще числившихся в рядах "враждебных", "клеветнических", "запрещенных". В 1958 году удостоился милости Платонов: были изданы "Избранные рассказы" размером в 287 страниц. Половину книги занимали фронтовые рассказы, хотя и подвергавшиеся критике, но и показавшиеся наиболее "безвредными". Открытие писателя происходит в 1966 году: в сборник "Избранное" включается пять повестей, в том числе "Джан" ранее полностью не публиковавшийся, и шестнадцать рассказов, в том числе неизвестный "Мусорный ветер". В 70-е годы произведения Платонова регулярно переиздаются, в 1978 году появляются "Избранные произведения" в двух томах.

Если сравнить сборник 1966 года и двухтомник 1978 года, станет очевидным, что корпус произведений Платонова остается неизменным: добавлены научно-фантастические рассказы, некоторые литературно-критические статьи. И только.

В известном историческом анекдоте рассказывается о жалобе некой девицы Петру Первому на произведенное над ней насилие. Великий русский царь, признав правоту истицы, поставил резолюцию: считать девицей! Андрей Платонов объявлен советским классиком. Но — не полностью. Он считается девицей, скажем, на 30%. На те проценты творчества писателя, которые сочтены достаточно невинными. Критики многим в нем недовольны: "Не все его (Платонова) герои действуют на главных направлениях движения нашего общества". Естественно, произведения в которых изображены "неправильные" герои, не публикуются. Биограф упрекает писателя: "Сатира А. Платонова лишена какой бы то ни было позитивной социально-экономической программы...". Естественно, не печатается сатира.

Возникает парадокс. Писатель, объявленный "советским классиком", включенный в "золотой фонд" советской литературы, остается в значительной степени запрещенным, потаенным. Статья о нем в "Краткой литературной энциклопедии" заканчивается загадочной фразой: "После смерти Платонова осталось большое рукописное наследие". Фраза загадочна, ибо неясно, что же мешает опубликовать рукописи замечательного писателя. Впрочем, запрет касается не только рукописей: не переиздаются многие произведения Платонова, публиковавшиеся — по недосмотру — в свое время.

Советские цензоры и издательства, решающие сегодня,

что публиковать из наследия Платонова, а что утаивать, опираются на указания, данные в 30-е годы лучшими знатоками творчества писателя — Сталиным и Горьким. Тов. Сталин лично читал "Усомнившегося Макара" и "Впрок". И, оставшись недоволен автором, поставил резолюцию: "Подонок". Тов. Горький, прочитав рукопись "Чевенгур", признал, что "роман ваш — чрезвычайно интересный" и добавил: "Но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры"

Трогательно заботясь о "нашей цензуре", А.М. Горький советует Платонову переделать роман в пьесу, а лучше всего вообще писать что-нибудь другое.

В пьесе М. Булгакова "Последние дни" шпик, приставленный следить за Пушкиным, недоумевающе размышляет над судьбой поэта: "...Не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие". Булгаков имел полное право говорить это про себя. Такое же право имел и Андрей Платонов. На всех поворотах государственной и литературной политики он оказывался под ногами у властей предрержащих и подвергался порке. Его начинают бить в 1929 году, в год "великого перелома". Последний раз при жизни его громят в "Правде" в 1948 году. И потом до смерти перестают печатать.

Враждебная критика была совершенно справедливой: Платонову не было места в советской литературе. Потомственный пролетарий, он не только был одарен великим талантом, но — одним из очень немногих — сохранил на протяжении 30 лет своей творческой жизни то, что составляет смысл литературы — собственный взгляд на мир.

Всю жизнь Платонов пишет одну книгу: о соблазне утопии. О мираже счастья, обещанного за поворотом дороги. О том, как этот мираж заставляет людей делать революцию, убивать и умирать, терять человеческие чувства по дороге к счастью, из любви к дальнему губить любовь ближнего.

"Первой главой" платоновской "книги" были произведения-размышления о ленинской революции, о первом прыжке в утопию: "Ямская слобода", "Сокровенный человек", роман "Чевенгур", вобравший все темы, сюжеты, героев этой "главы". Сюжет "второй главы" — сталинская революция, времен "великого перелома" и его последствия. В эту "главу" входят: "Котлован", "Впрок", "Усомнившийся Макар", "Государственный житель", "Ювенильное море", "Че-че-о" ("Организационно-философские очерки"), написанные совместно с Бор. Пильняком, пьесы 30-х годов. Для писателя нет разрыва между двумя революциями — ленинской и сталинской: обе взаимосвязаны, вытекают одна из другой, обе одного и того же порядка. Обе — соблазняют утопией.

Достаточно беглого взгляда на библиографию Платонова и содержание его книг, изданных в Советском Союзе после смерти Сталина, чтобы понять смысл ампутации, произведенной над писателем. Из "первой главы" к печати не допущена главная книга — "Чевенгур", "вторая глава" — запрещена целиком. Как выразился Платонов в 1937 году о фальсификации его творчества критиками: "Было взято мое, так сказать, "литературное туловище" и критически препарировано. В результате этого "опыта" из моего человеческого все же тела получилось: одна собака, четыре гвоздя, фунт серы и глиняная пепельница".

Многое из запрещенного Платонова на Западе издано, прежде всего, по-русски. Особенно важное значение для понимания замечательного писателя имеет публикация рукописей "Чевенгура" и "Котлована". Но не все еще доступно читателю. Сборник "Потаенный Платонов" ставит задачей познакомить тех, кто интересуется русской литературой XX века, с произведениями, без которых беднеет и русская проза, и Платонов.

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел, — завтра жди какого-нибудь принятия мер. Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет...

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволили бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому...

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому: — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой: — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе, — думать он не мог, — а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

”Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем.”

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства... Макар был неподъемен, — у него в руках



Андрей Платонов

Усомнившийся Макар

РАССКАЗ

оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, — никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало; их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар: — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — слухбно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мясa нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар: — у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся.

— Ты, что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — одиночник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я же не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

Макар ездил в поездах девять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. "Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол".

Нынче Макар, так же как и девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдию и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

"Замучают они машину, — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст".

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Подошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как по его предположению была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился стругать конверты и открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

"Чем вещь тяжелее, — сравнительно представлял себе Макар камень и пух: — тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы".

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глущину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующую скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка. — До Москвы недалеко: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастерские пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

"Теперь я и пешком дойду! — сообразил Макар. — Авось, поезд домчится и без добавочной тяжести!"

И Макар тронулся в направлении башен, церкви и грозных сооружений — в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь.

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучались и мало росли.

Макар понимал такую природу неотчетливо:

"Не то тут особые негодия живут, что даже растения от нихдохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рождает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?"

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли:

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение. — С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал, — он уважал людей из масс, — однако, посоветовал Макару обратиться в Москву; там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы: я — исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

"Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. — Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!"

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям "спасибо!" — без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись подмышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

"Только чего ж они бегут, силы тратят? — озадачился Макар. — Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!"

Но люди бежали, лезли в трамвай до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. "Хорошие люди, — думал он, — трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!"

Трамвай Макару понравился, потому что они сами едут, и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втокнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

”Бедная работница! — думал Макар о машине. — Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет, — живые ноги бережет”!

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

— Я — так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне что-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь, — тебе по требованию, — сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папироску в уличное по-мойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

”Ржаную муку здесь не уважают, — заключил в уме Макар: здесь белыми жамками кормятся”.

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под гору и сообщил:

— У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отошал, — заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу, — там ребята тебя покормят, — помог Макару каменщик. — А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а, стало быть — никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужилсь. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля всюду была поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, — он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и от того, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рошу, а что нужно, чего не хватает на постройке, — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и неуставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую изучно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, и потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то в тайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном

месте, — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: "Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии".

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер, — обратился Макар: укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, в трамваях и на живых ногах толпы.

"Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!", — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той головой шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

"Ничего себе властишка! — оценил Макар. — Только надо, чтобы она не взбаловалась, потому что она наша!"

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

"Пусть живут! — решил про них Макар. — Они же думают чего-нибудь, раз жалование получают, а раз они о должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!"

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат, — сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться, — он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний, — сказал Макар. — Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант. — Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь: либо с нищими, либо с сезонниками...

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит, — попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант. — Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более, что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм, — будет ли в социализме удивительная радость и какая?

— Дома-то строили раньше, — согласился комендант. — Только тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно, — обрадовался Макар. — Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груды кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

"Тоже... — рассуждал Макар: — лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучался: мала советская власть — своего имущества не видит!"

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил, поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись; как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали, наконец, являться пролетарии... кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от измождения.

Макар подождал, пока пролетариат разлежся на государственных койках и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, центральной силе государства, а в нем не порядок и утраты ценностей...

Пролетариат пошевелился на койках.

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтобы он стал нормальным...

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали, — говорил Макар. — Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние, — их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса... Тоже и в строительстве домов и сараев, — их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите... Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорее...

— Какую кишку? — произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку, — подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила не дорога, — мы и по мелочи дома поставили, — нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания, — друг друга закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался и это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался не-пролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горящего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученнейшего

человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась перед ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал попрежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижным-научным и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюда без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды и спросил рябого:

— Все ушли на работу, — чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промакнул мокрое лицо в подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающих мало, — я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетения?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, — соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; так же много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фазтонах; а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты, небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил все свое сознание.

— Я-то? Я надуваюсь существовать вроде Ильича-Ленина. Я гляжу и вдаль, и вблизи, ивширку, и вглубь, и вверх.

— Да, то-то! — успокоился Макар. — А я-то намедни видел громадного научного человека: так в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы, — умно произнес Петр. — Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет и дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться, и не удариться насмерть — и считать себя правым, а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков в почве не боимся!

— У нас народ теперь обутий! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление, вперед, ни отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим, — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, — какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глиносоломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии и мне не нравится; его ведь дурак-капитализм произвел, а мы таких подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А разве ты не знаешь — что, то следуй в жизни под моим руководством; иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал: "Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, — они поразмножаться должны, а детей незаметно".

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семьями без размножения, тут кушают без производства труда...

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции, — за это его с семейством целых полтора года кормят... а другой и не пишет ничего, — просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрели Москва-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел; он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделении сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранил прочь обратно.

Когда ж дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал: — Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Чего же он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет; суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник. — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование...

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить, — все люди в разгоне...

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевнобольных Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может оставить его ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр. — Ему надо щей чугуна и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушивались Ленина, — они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

— Побольше надо в наших учреждениях рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьи бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят...

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли

замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе вся революция, написана живьем...

— Книгу эту я отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждении и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более, что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

Петр знал, куда надо идти, — в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв верхнюю дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат "Кто кого?", Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится "кто кого?", то давай мы его...

— Нет, нет, — отверг опытный Петр: — у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли потому, что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены, — сказал Петр высшему начальнику, — у нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой.

— Берите. Она ваша, — сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать также, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам государства. В ней тов. Чумовой проработал 44 года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его золотой гос-ум.

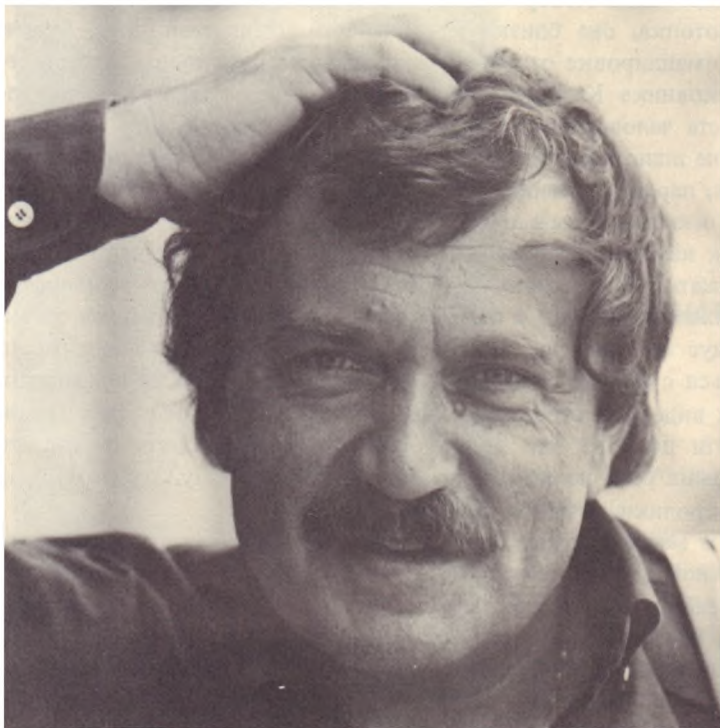
Со следующего номера «Стрелец» открывает рубрику «Литература метрополии: взгляд из Парижа»,

**КОТОРУЮ БУДЕТ ВЕСТИ ПИСАТЕЛЬ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН. ЭТА РУБРИКА, РЕЦЕНЗИИ
НА КНИГИ ПРОЗАИКОВ И ПОЭТОВ, ЖИВУЩИХ
НА ЗАПАДЕ, А ТАКЖЕ ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПЕРИОДИКИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, СУМЕЮТ,
НА НАШ ВЗГЛЯД, ОТРАЗИТЬ НАИБОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Василий Аксенов

КАРАДАГ-68

Из книги «Радиоэссе»



Время от времени я буду рассказывать утомленному проблемам современной жизни читателю разные забавные истории; думаю, что он заслужил эти маленькие призы. Ручаюсь, однако, что истории эти будут содержать гораздо больше правды, чем вымысла, во всяком случае, все они будут иметь реальную основу, то есть базироваться на действительно имевших место событиях — ну, а если они вызовут не только улыбку, но и размышления, то в этом, полагаю, будет не моя вина, а читателя.

Вот одна из подобных историй, случившаяся в Крыму... Вижу уже иронический взгляд и спешу оговориться: дело было в настоящем Крыму, на полуострове Крым, а не на каком-то воображаемом острове, в Крымской области Украинской Советской Социалистической Республики, а не в каком-то мифическом государстве, и происходило это, совершенно отчетливо помню, в августе 1968 года.

В том месяце того года, как многие еще, должно быть, помнят, вооруженные силы Варшавского Пакта оккупировали своего собственного союзника Чехословакию. Сенсация была невероятная, шуму — на весь мир, и никто в мире не заметил, что параллельно с этой гениальной операцией произошла другая, не менее гениальная, хотя и тихая, в ходе которой была оккупирована еще одна республика, впрочем, не состоявшая в Варшавском Пакте.

Я жил в то лето в Литфондовском доме, в Восточном Крыму, в знаменитом литературном поселке Коктебель. За неделю до захвата Праги над всей Европой стояло безоблачное небо,

а мы тогда входили в Европу, в том смысле, что полагали себя ее частью. Происходили всевозможные купания, ныряния и возлияния. Как всегда в Коктебеле нашу компанию начинал постепенно охватывать волошинский артистический дух, средиземноморское возбуждение сродни шампанскому. Прозрачайшее море содержало плывущие на разных уровнях тела людей и дельфинов. По ночам в соответствии с законами августа в море и на горы сыпались звезды. Контурсы Карадага, Святой горы и Сюрюкая то плыли над нами, то вдруг с лунной четкостью закреплялись в пространстве, создавая волшебную коктебельскую иллюзию свободы и молодости. Впрочем, мы и в самом деле были тогда еще довольно молоды.

Однажды из соседней Феодосии приехали два журналиста и взялись брать интервью у писателей. Дошла очередь и до меня. Журналисты эти комсомольские были донельзя скучными провинциальными пареньками. Мы сидели на веранде, я вяло отвечал на вопросы, наблюдая проходящих мимо девушек. И вдруг один из них сказал:

— У нас тут в ближайшем будущем намечается большое комсомольско-молодежное мероприятие. И даже не без участия милиции и войск погранохраны. Республику тут одну будем брать.

— Какую же это республику? — вскричал я, пораженный. — Уж не Чехословакию ли?

— Ну, уж вы тоже скажете, Василий Павлович, — вежливо захихикали журналисты. — Чехословацкая народная республика ведь суверенное социалистическое государство. Это у нас тут на Карадаге появились такие друзья, такую объявили подозрительную республику.

Донельзя заинтригованный, я стал их расспрашивать. Оказалось, что в неприступных с суши бухточках под отвесными скалами образовалась самая настоящая буржуазная демократия. Буржуев в общем-то там пока не видели, но многопартийная система, вот что страшно, существует. Выборы там, понимаете ли, провели, такие циники. Избрали себе парламент и президента, такого амбалистого парня с жуткой мускулатурой. Подняли, можете себе представить, свой собственный флаг, что, конечно, вы же понимаете как писатель, настоящим является издевательством над государственным флагом нашей страны.

В общем, решено с этим разгулом реакции покончить. Будем республику эту брать и передавать соответствующим органам...

— А вы, значит, писать об этом будете? — спросил я. — Освещать будете эту гениальную операцию?

Журналисты опять захихикали. Они почему-то все время хихикали не без шкодливости.

— Ну что вы, Василий Павлович! Это же тема не газетная. Это же просто суровая необходимость по охране окружающей среды.

Я хорошо знал некоторые из этих бухточек, ставшие территорией Свободной Республики Карадаг: Малая Лягушка, Большая Лягушка, Сердоликовая, Львиная, Разбойничья, Сад Чудес... По берегу до некоторых из них невозможно было добраться, тропинки обрывались на отвесных каменных стенах. Нужно было плыть, а так как лодки в тех местах запрещались погранохраной, то плыть, стало быть, приходилось самому или, в крайнем случае, на надувном матрасе, тоже, впрочем, запрещенном. Можно было, конечно, спускаться в бухты с вершины Карадага, но для этого нужно было быть тренированным альпинистом и скалолазом и иметь соответствующее оборудование. Жители этих бухт как раз и были таковыми — альпинистами, пловцами, ныряльщиками, кроме того они почти все были певцами, гитаристами, оглашали ущелья Галичем и Высоцким, кроме того многие из них были кандидатами математических или физических наук, некоторые докторами. Образовательный ценз в Республике был даже выше, чем в Израиле.

С борта проходящих мимо Карадага прогулочных пароходиков туристы могли видеть крохотные, покрытые камнями и галькой пляжики этих бухт и загорелые фигуры республиканцев. Экскурсоводы предупреждали туристов: "Не старайтесь туда попасть, там живут опасные люди::".

Мы как-то раз туда попали, всей нашей большой компанией, однако не по собственному желанию, а по воле стихий. Отправились как-то с женщинами и детьми в последнюю доступную по суше бухту, все утро там загорали и плескались, как вдруг начался ужаснейший шторм; такие случаи в Коктебеле бывают. Тропинка, по которой мы приползли, скрылась в ревуших валах, от нашего пляжика осталось три-четыре квадратных метра; мы стояли, прижавшись спинами к скале и держали детей, боясь и думать, что случится, если шторм наберет еще парочку баллов.

И вдруг пришла помощь, это как раз были карадагские республиканцы. Они приплыли за нами на своих надувных матрацах, или как пограничники их называли в запретительных инструкциях "плавсредствах, пригодных для любой цели" и стали спасать "страхом обуялый и дома тонущий народ". Парни были крепкие, белозубые на подбор, даже в беснующихся волнах от них исходила некая веселая надежность. Они переправили нас в столицу Карадага Седьмую Сердоликовую бухту, и к этому времени шторм вдруг стих и начался замечательный вечер.

В тот вечер, после захода солнца назначены были там выборы Мисс Сердолик. Семь красавиц предстали перед жюри и населением, которое насчитывало, пожалуй, более сотни. С Карадага спущено было продовольствие и горячее, так называемое "Украинское Белое", похожее по вкусу на "Калифорнийское шабли". Загорелся костер, заработали аппараты по улавливанию буржуазной культуры, то есть радиоприемники. Не отставали и гитары.

Я вспомнил, что среди массы вздора, который мы все в ту ночь несли, были и разговоры о том, что эти выборы только первые в череде других, что будет учреждена Республика с Парламентом и Президентом. Именно отсюда начнется возрождение отечественной демократий! — возопил там однажды огромный русский мужик по имени Грант. Некоторые его, однако, оспаривали, предлагали выход из состава, присоединение к Греции, разумеется, к древней, а не современной, предлагали немедленно подать заявление в ООН и примкнуть к неприсоединившимся странам. Присоединение к неприсоединившимся — какой восторг! Кто мог подумать в ту ночь, что развитием событий на Карадаге будет так озабочена наша родная коммунистическая партия в лице ее Феодосийского горкома.

Слухи о готовящемся вторжении на Карадаг поползли по деревне, по пляжам Коктебельской бухты. Говорили, что разработана уже диспозиция: сверху на хребет выйдут дружинники и милиция, дорожки Библейской долины перекроют джипами, а снизу, с моря бухты Свободного Карадага заблокируют катера погранохраны с десантниками на борту. Население волновалось: в курортный сезон в обществе всегда нарастает либерализм. Патрули пограничников встречали косыми взглядами. Возникали сомнительные дискуссии.

Подумать только, товарищи, а ведь мы когда-то этих славных воинов-пограничников идеализировали, романтизировали. Защитники священных рубежей! Помните, в детстве-то как восхищались — пограничник Карацупа и его верная собака Индус! Еще бы не помнить! На этом росли! Пограничник Карацупа, собака Индус, ну и еще Павлик Морозов... А это еще кто такой? Что-то не помним такого Павлика. Да как же вы не помните такого героического мальчика, который своего папу выдал, это же был для всех детишек пример для подражания. Ах да, ах да! Между нами говоря, есть предположения, что такого мальчика вообще в природе не существовало, а вся история — это просто перевод с немецкого или что-то вроде пересказа аналогич-

ной нацистской истории для Гитлер-югенда. Ну, уж это вы слишком, какие вы, право, стали малoverы! Почему же вы не верите, неужели вы думаете, что у нас не могло возникнуть своего мальчика? Не верим, потому что очень много тогда, знаете ли, врал. Вспомните, про того же пограничника Карацупу писали, что он за месяц поймал больше трехсот нарушителей границы. Ну ведь это же ни в какие ворота не лезет! Триста шпионов в месяц — это значит десять шпионов в день без выходных, товарищи! Позвольте усомниться. В самом деле что-то напоминает историю барона Мюнхаузена. А вот и зря сомневаетесь, братцы-кролики, я знаю из достоверных источников, что цифра триста не взята с потолка, она близка к реальности. Один мой друг, будучи в командировке от своего журнала, интервьюировал отставного полковника Карацупу в наши дни и убедился, что именно по триста человек он и вылавливал каждый месяц, а то и больше, но не шпионов, братцы-кролики, а нарушителей границы — большая, пардон, разница. И нарушали-то они совсем не в ту сторону, о которой мы в детстве думали, а в противоположную, то есть не к нам пробирались с диверсионной целью, а от нас пытались убежать. Это просто, братцы-кролики, мужички-крестьяне от колхозов драпали, а пограничник Карацупа и его верная собака Индус их и цапали. Ах, товарищи-товарищи, как горько расставаться с детскими идеалами, как горько вот в этих пограничниках видеть не стражей, а охранников, товарищи, ведь эдак можно дойти до того, что просто лагерными вохровцами их считать, а самих себя полагать как бы внутри зоны... Ну, эту тему, братцы-кролики, лучше не развивать.

Такие опасные разговорчики имели место тогда в сомнительном 1968 году на пляжах Коктебеля, и несчастные солдатики с зелеными погонами не понимали, почему девушки смотрят на них презрительно, а парни свистят вслед. Понимали-непонимали, однако исправно гоняли по ночам с пляжа влюбленных, мощнейшими прожекторами освещали бухту и темный массив Карадага с профилями Волошина, Твардовского и Пушкина.

Возбуждение нарастало. Говорили, что Республика готовится к сопротивлению. Передавали слова Президента Гранта (впрочем, может быть, его звали Флинт или Герберт), якобы сказанные на заседании Парламента:

— У меня пятьдесят бойцов, и все это мужчины, а не маменькины сынки. Если они высадут десант, нет никаких сомнений, что мы его сбросим в море.

В Литфондовском доме кто-то взялся за составление письма в адрес Брежнева (копия Луи Арагону) с просьбой приостановить карательную операцию и вместо этого провести в жизнь соответствующие мероприятия, направленные на упорядочение досуга молодежи.

Неизвестно, как бы повернулись события, если бы в ночь на 21 августа армии Варшавского блока не вторглись в Чехословакию. Внимание всего человечества было отвлечено; повсюду, в том числе и на Коктебельских пляжах говорили теперь только о Дубчеке и Смырковском. Республика Карадаг была брошена на произвол судьбы, и, как я узнал через неделю, оккупирована феодосийскими карательными отрядами без всякого шума. Таким образом оккупация Чехословакии послужила как бы дымовой завесой, мир не узнал о падении другой свободной страны в то же самое время, и Мисс Сердолик пролила "невидимые миру слезы".

Впрочем, эту операцию нельзя признать столь же успешной, как штурм беззащитной Праги. По совершенно точным сведениям Президенту и Парламенту удалось бежать (они оказались явно более тренированными людьми, чем ЦК КПЧ), и феодосийской армаде удалось захватить всего лишь несколько ничего не подозревавших и спавших в своих спальных мешках "дикарей"-туристов.

Эрнст Неизвестный

СОН

Из книги воспоминаний «Лик, лицо, личина»

Я на ступенях широкой, как горизонт лестницы.

Ступени, ступени, ступени неотвратно уходят в небо. Монотонный размах, повторение горизонтального ритма, бесконечность, гипноз остановленного времени. Лестница кроваво-красна. Кровь множества казненных, густая, медлительная, красная, жирная ртуть стекает с нее.

Под сожженным небом в стеклянном воздухе висел соленый запах отнятых жизней. Пошрое время не властвовало. Не было секунд, дней, тысячелетий. Сладкая пустота. Но зловоние отбросов, которое донеслось сюда из злостного болота, победив озон крови, двинуло время. Надо было снова привыкать к запахам гниения, становиться к ним безучастным.

К моим ногам бросили огромную морду, отдаленно походившую на человека. Ее выковырнули из вонючей грязи, отделив от остальной шайки. Это было существо, еле слепленное из мяса, штанов и бровей. Низкая жизнь сделала его мерзким. Это был образ, удивительный даже для мужественного сердца. Я мог приговорить его к казни за то, что он увяз в повседневности, как свинья в слякоти, наполняя весь мир зловонием, уничтожая изящество и доблесть. Но, не желая попасть под обаяние революционной законности, исходящей из нравственного негодования или эстетизированной жестокости, я давал ему шанс оправдаться. Надо было с холодностью естествоиспытателя исследовать этот отвратительный образ обмана. Хотя у меня от омерзения побелели даже ногти. — Прочь брезгливость! — Я с трудом извлек его жопу, как устрицу отодрав от заскоруз-

лых от кала штанов. Его задница, украшенная бровями и изборожденная порочными морщинами, в точности повторяла очертания и бугристый рельеф его бровистой личины. Его жопо-морда, как и его мордо-жопа, находились в статическом равновесии.

Этот двужопомордый тьяни-толкай не размыкал отверстий для оправданий. И не от природной скромности или выдержки, а просто они, мордожопоперды, не могут издать ни одного звука без заранее, конечно, не ими написанного текста.

Существо тяжело и тревожно дышало, и только грязь клокотала в прямых кишках горл. "Не бойся, — сказал я, — бояться следует лишь таких вещей, которые способны приносить вред другим. Ты же сейчас не опасен."

Неожиданно Брежнев перднул. Его нижняя жопа-морда оказалась более живой, чем верхняя. Она смогла разомкнуть уста. И в этом простом, но вполне человеческом звуке — выдохе, послышалась, прошелестелась, прошептала на языке вони горестная фраза: "Ох, как трудно быть глупым!"

И по обеим большим задницам обильно потекла моча, имитируя слезы. Он мной немедленно был помилован. Я всегда важные решения принимал неожиданно.

* * *

Ленина звали Ильич. Сталина — Хозяин. Хрущева — Никита. А Леонида Ильича в народе зовут Ленька. Более пренебрежительно назвать никак нельзя. Потому что "Ильич" в народе было почтенное прозви-





Из серии «В королевстве дерьма», 1983

ще. Так зовут стариков. "Хозяин" — слово грозное и отчужденное. "Никита" — панибратское, но вместе с тем с долей симпатии. Ленька? Кто такой Ленька? Ленька — рвань у пивной. Брежнев, маршал, генсек, хозяин президиума — а всего только Ленька. В дурацких цацках-орденах, бедный, потный, косноязычный Ленька — символ ужаса и деградации многострадальной страны.

Он, как и его сотоварищи, не достоин суда, они не создатели системы, они охранители ее. Тупые тюремщики, сами сидящие в клетке. Их надо просто лишить власти, и они, как все прежние Булганины, Кириленко, Шелесты, Шелепины, тут же станут теми, кто они есть в действительности — бездарными, эгоистическими стариками, с которыми не будут разговаривать внуки, с которыми не будут водиться во дворе

даже мужики, играющие в "кости". Настолько они неинтересны. Самое лучшее, на что они могут надеяться, что добрые пьяницы, стоящие у пивной, забывшие их величие, крикнут: "Эй ты, Суслов, Суслик, в рот нехороший, да подай же Лене кружку пива! Видишь, у него уже с бровей сопли каплют. На-а, опохмелись в неочередь, Ленька!"

«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.

Расценки на рекламные объявления в рамке

1 дюйм на одну колонку — \$7.00

Четверть страницы — \$50.00

Половина страницы — \$100.00

Целая страница — \$200.00

Объявления и оплату /чеки и денежные переводы/ просьба направлять по адресу:

Tatyana Goerner
104 Corbin Avenue
Apt. 3D Jersey City, NJ 07306
U.S.A

Оскар Рабин

БУЛЬДОЗЕРНАЯ ВЫСТАВКА

Из книги воспоминаний *

Еще никогда у нонконформистов надежда так быстро не сменялась отчаянием, как во время "Бульдозерной выставки". Никогда еще выставка, практически не состоявшаяся, не получала такого отклика на Западе. Все началось с письма, которое мы направили в Моссовет, чтобы сообщить властям о нашем намерении устроить "показ картин" на московском пустыре 15 сентября 1974 года с 12-ти до 2-х часов.

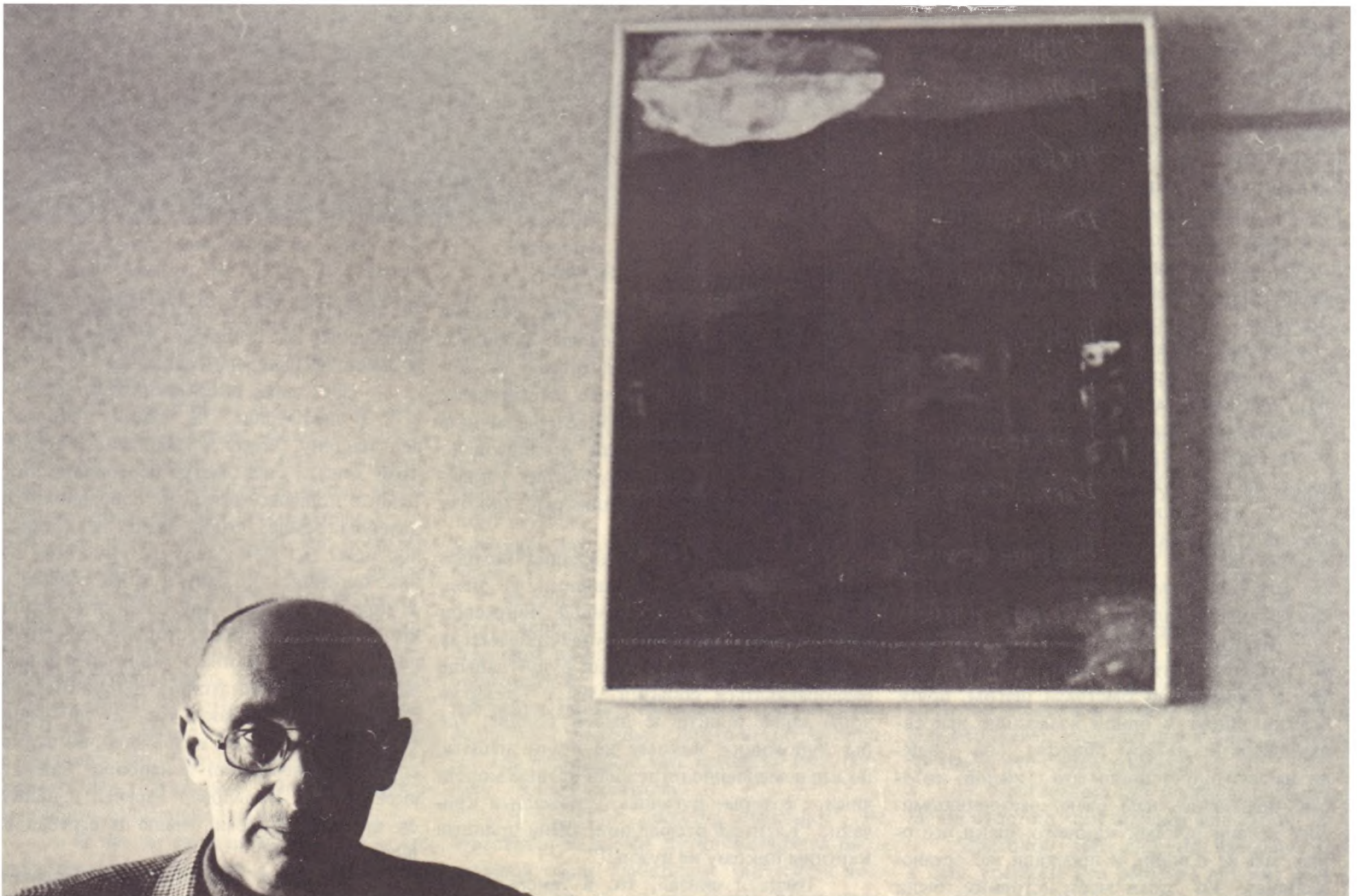
На следующее утро мне позвонил чиновник из отдела культуры и сказал, что хотел бы поговорить со мной на эту тему лично. Разговаривать с ним лично я отказался, и мы выбрали нескольких человек из числа художников для переговоров с начальством. Такая моментальная реакция властей подтверждала предположение, что благодаря прослушиванию телефонов они были в курсе наших дел.

Во время бесконечных совещаний выдвигались возражения юридического порядка, которые легко отбрасывались, потому что в СССР ни разу не организовывались выставки на открытом воздухе, и на этот счет не существовало никаких указаний. Тогда наши собеседники поменяли пластинку. Они объявили, что собираются предоставить для выставки помещение. Но мы-то знали, чего стоят обещания начальства и не поддавались на приманку. В этом пункте они особенно уперлись, настойчиво советуя нам отказаться от выставки на открытом воздухе. В заключение нам было объявлено, что все это плохо кончится. Тем не менее формально они выставку не запретили. В конце концов так ничего и не решили. А уходя, мы еще имели наглость оставить им приглашение.

Оставалось несомненным одно: надс

быть настороже, и поэтому мы разработали самый настоящий план сражения. Большую часть картин оставили у нашего друга математика Виктора Тупицына, который жил недалеко от пустыря. Многие художники переночевали у него, а остальные должны были прибыть на место небольшими группками с картинами и треножниками в руках. Таким образом, если кого-нибудь даже перехватят, то заберут не всех, и выставка, несмотря ни на что, состоится. Кроме того, сообща решили, что в случае, если кого-нибудь задержат, не спорить и, самое главное, не сопротивляться, потому что это может спровоцировать драку — классический повод для обвинения в хулиганстве. Естественно, мы очень хорошо понимали, что если власти действительно захотели бы запретить выставку, то они ни

* Книга готовится к печати в издательстве «Третья волна»



одному участнику даже не дали бы дойти до пустыря. В то же время казалось, что не может же какая-то выставка стать чуть ли не делом государственной важности и что к нам вряд ли могут применить чересчур серьезные меры. Тем более, что складывалась хорошая международная обстановка — был как раз тот период, когда СССР ждал от Соединенных Штатов статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Барометр показывал такую хорошую погоду, что иностранные корреспонденты у нас даже спрашивали, уж не нарочно ли мы выбрали для выставки именно этот момент.

Многие дипломаты, в том числе послы и их жены, приняли наше приглашение, и, зная осторожность властей, мы подумали, что они вряд ли решатся на скандал. Тем не менее утром Виктор Тупицын пошел проверить, как обстоят дела на пустыре. Место, выбранное для показа, находилось недалеко от леса, на большой поляне, которая была легко доступна как для машин, так и для пешеходов. Оно выгодно отличалось от остальной части пустыря, загроможденного огромными трубами, которые ржавели в размокшей глине.

Виктор не заметил ничего подозрительного, и художники сразу же выехали, рассчитывая прибыть на метро до 12 часов. Наша группка, в которую входили я, Надя Эльская, Женя Рухин и Саша Глезер, почти уверенные, что все пойдет хорошо, спокойно села в метро на станции "Преображенская" и, доехав до нужной станции, направилась к выходу. Но вдруг два человека преградили мне путь. Несмотря на уговор не вмешиваться, Саша тут же бросился ко мне, и его тоже забрали. Нас привели в небольшую милицейскую комнату, какие бывают на каждой станции метро. Как и остальные художники, я открыто нес в руках две картины. Однако, как выяснилось, меня задержали по той причине, что у кого-то в метро якобы украли часы (у милиции очень бедное воображение — ничего, кроме украденных часов, они придумать не могут) и что я по описаниям очень похож на вора. Спорить было бесполезно. Приблизительно через полчаса явился человек в штатском и объявил, что мы свободны, потому что их подозрения не подтвердились.

Двенадцать часов давно уже прошли, до пустыря идти не меньше километра. Мы с Сашей шли быстрым шагом, почти бежали. Вдруг в одной из машин, направлявшихся к центру Москвы, мы увидели нашего друга-дипломата с женой, которые показались нам очень растерянными. Они делали руками какие-то знаки, которых мы не поняли, и проехали, не остановившись. На этом месте стоянки были запрещены.

Улица поднималась вверх. Мы добрались, наконец, до места, с которого просматривался пустырь, и перед нами открылся спектакль, который я никогда не забуду. Под морозящим дождем толпились испуганные, сбитые с толку зрители, растерявшиеся художники, собравшись жалкой кучкой, стояли, не решаясь распаковать картины. Всюду виднелись милицейские машины, милиционеров в форме было немного, и они держались в стороне. И наоборот, было много милиционеров, переодетых в штатское, которые держали в руках лопаты. Они легко различались в толпе. Кроме того, стояли бульдозеры, поливальные машины и грузовики с готовыми для посадки деревьями. Происходило что-то совершенно непонятное. Художники

на месте, сразу распаковал свои картины и, так как поставить их на треножник не было никакой возможности, то я стал держать картины на вытянутых руках. Большинство художников последовало моему примеру. И тут началось что-то невообразимое: у нас вырывали картины, в неразберихе одна из моих работ вдруг пропала, несколько дружинников пыталось вырвать у меня другую, но я в нее вцепился и держал изо всех сил. В конце концов они добились своего.

Другие "трудящиеся" завели бульдозеры, крича, чтобы все немедленно убиралось и не мешали им работать. Если что-нибудь случится, они ни за что не отвечают. Тут я увидел, что моя картина, разорванная, валяется в грязи. Бульдозер, рыча, медлен-



Москва, 15 сентября 1974 года

объяснили нам суть дела. Им сказали, что на этом месте решили срочно разбивать парк, пустырь нужно подготовить для посадки деревьев, поэтому все собравшиеся должны немедленно уйти, чтобы не мешать трудящимся работать. Они организовали субботник. Тот факт, что субботник устраивался в воскресенье, по-видимому, никого не смущал.

Двадцать четыре художника находились в полнейшей растерянности, не зная, что предпринять. Иностранные корреспонденты, несколько наших друзей-дипломатов и толпа зрителей ждали, как будут дальше развиваться события. Мы с Глезером попытались пройти к нашей поляне, где бы художники никому не стали мешать, но нас немедленно окружили бравые молодчики, которые ругались, угрожали и кричали: "Катитесь отсюда вон! Ваши дрянные картины никому не нужны!"

Тогда я сказал, что в таком случае мы будем показывать картины тут же,

но двигался сквозь толпу, люди в страхе шарахались в стороны. Я разозлился и, бросившись наперерез, закричал:

— Ну, давай, езжай, если хочешь!

Бульдозерист, не снижая скорости, вел машину. Тогда я уцепился за верхний край ножа и стал быстро перебирать согнутыми в коленях ногами по собранной бульдозером земле, чтобы меня не затянуло под нож. Тут мой сын и его друг Гена Вечняк бросились ко мне и тоже схватились за нож бульдозера. Дружинники подскочили и отшвырнули их в сторону. На секунду все оцепенели, потом к водителю подскочил человек в штатском и приказал ему остановиться. Однако тот то ли выпил, то ли был слишком возбужден, во всяком случае, он перепутал и наоборот нажал на акселератор. Бульдозер взревел и двинулся вперед, загребая землю и сгребая все в свое нутро.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы один из американских корреспон-

дентов, человек полный и обычно довольно флегматичный, вдруг не рванулся к шoferу и не выключил зажигание. Бульдозер остановился, "трудящиеся" подскочили ко мне и к сыну, чей-то голос прокричал: "Увести!", и нас со скрученными за спиной руками впахнули в стоящую рядом машину. Последнее, что я помню, была Надя Эльская, которая взобравшись на огромную трубу, кричала, обращаясь ко всем:

— Выставка продолжается! Нам разрешили показывать картины два часа, и мы останемся здесь и будем показывать их два часа!

И еще я помню гигантскую двухметровую фигуру Жени Рухина, одетого, как и все мы, в свой лучший праздничный костюм, которого дружинники, крича и ругаясь, волокли по мокрой развороченной глине.

В отделении, куда меня привели, уже находилось не менее тридцати человек, в их числе член Союза художников Алексей Тяпушкин. Мне еще представится случай рассказать об этом замечательном человеке и верном друге, который при самых тяжелых обстоятельствах всегда находился рядом с нами. Благодаря бесстрашному поведению во время Второй мировой войны он стал одним из немногих, получивших тогда звание Героя Советского Союза. Его забрали, потому что, придя на выставку как зритель, он требовал, чтобы милиционеры вмешались и прекратили безобразие.

Привели Виктора Тупицына, который находился в ужасном состоянии. Он сопротивлялся "трудящимся", и когда, в конце концов, его втолкнули в машину, блюстители порядка умелым приемом так били его между ногами, что он не мог стоять, плакал и корчился от боли. Теперь Виктор Тупицын живет в Соединенных Штатах, куда ему несколько лет назад удалось с семьей эмигрировать.

Вскоре за мной явились, чтобы перевести в другое отделение милиции. Я очень обрадовался, увидев сына, Надю Эльскую, Женю Рухина и фотографа Володю Сычева. Из пятидесяти человек, задержанных в тот день, мы были единственными, которые должны были предстать перед судом. Нас поместили за барьер и стали по отдельности вызывать в разные кабинеты на допрос. Среди тех, кто меня допрашивал, находился один очень вежливый молодой человек в штатском. Прежде всего он объявил, что не имеет никакого отношения к милиции, но, будучи студентом юридического факультета московского Университета, проходит здесь практику.

— Я вас не спрашиваю, кто вы и что здесь делаете, — ответил я. — У меня свое мнение на этот счет. Но раз уж вы здесь

находитесь, то наверно имеете право меня допрашивать.

Он сказал очень доверительным тоном: — Да нет же! Зачем допрашивать? Просто напроосто мы вместе поговорим. Вы — очень хороший художник...

— Вам хочется побеседовать об искусстве? — прервал его я.

— Почему вы все время говорите со мной в таком враждебном тоне? Вам обязательно хочется поспорить со мной? — спросил он.

— Да нет, — сказал я. — Только вы видите эту решетку на окне? Так вот, я принципиально не хочу за решеткой разговаривать об искусстве. Если вам хочется говорить о моих картинах...

— Именно! — воскликнул он. — Моя жена несколько раз видела ваши картины, и ей бы очень хотелось к вам приехать, если это возможно.

— Хорошо. Когда меня освободят, пусть она позвонит, и я покажу ей свои картины, как показываю всем, кто ко мне приходит. А до тех пор я не хочу говорить с вами ни об искусстве, ни о чем-либо другом.

На этом наш разговор закончился. Последним, кто меня допрашивал, был полковник, начальник этого отделения милиции. В его кабинете находилось еще три человека в штатском. Один из них заговорил со мной очень грубо. Я даже не знаю, о чем он хотел со мной говорить, потому что я тут же его прервал и так же грубо у него спросил, по какому праву он меня допрашивает и почему я должен ему отвечать. Другой человек в штатском сказал:

— Он из наших.

Я повернулся к нему:

— Что значит "из наших"? А сами вы кто такой? В этом кабинете имеется лишь одно ответственное лицо — начальник отделения — и лишь на его вопросы я стану отвечать.

Тот, который был "из наших", приказал начальнику отделения мне сообщить, что эту ночь я проведу в отделении милиции, а завтра утром должен буду предстать перед судом. Полковник слово в слово повторил фразу, и на этом допрос окончился.

Я сидел вместе со всеми, атмосфера была непринужденной и дружеской, мы старались не унывать и бодрились по мере возможности. Наконец, пришли на свидание наши друзья, которые с трудом разыскали это отделение — никто им не говорил, где мы находимся. Они принесли нам передачу — хлеб с колбасой.

"Студент", "проходя практику", не переставая со всеми шутил и старался быть со мной очень любезным. Так как я весь был в грязи, то он все время упрасивал

меня почиститься и предлагал свои услуги. Он считал, что в таком виде неудобно появляться перед судьей. "Студент" оставался с нами до тех пор, пока с нас не сняли шнурки от ботинок, пояса от брюк, не забрали сигареты, спички и прочие огнеопасные предметы, перед тем, как отвести каждого в отдельную камеру.

Моя была размером два пятьдесят на три пятьдесят. Какое-то сооружение вроде настила из твердого картона занимало почти всю камеру, оставляя лишь небольшой проход возле самой двери. Электрическая лампочка под металлической решеткой бросала тусклый свет на грязные серые стены. Растянувшись на настиле, я попытался заснуть, но было очень холодно, и сон не приходил. Возбуждение упало, и я начинал понимать, что все может кончиться двумя-тремя годами лагерей по обвинению в хулиганстве. В то же время я думал, что если за нас заступятся иностранцы и нас вдруг освободят, то неплохо было бы через некоторое время повторить эту выставку. Однако, в любом случае я себе внушал, что я прав и как бы дело не повернулось, буду вести себя как человек, который ни в чем не виноват. А они пусть делают, что хотят.

В 7.45 утра нас заставили выйти из камер и, не вернув личные вещи, повезли в "козле" в районный нарсуд. День был промозглый и сырой. Грязные, небритые, волочащие ноги в ботинках без шнурков и поддерживающие спадавшие жеванные брюки, мы превосходно соответствовали тому представлению, которое хотели о нас создать: подонки общества. На суде нас разделили, потому что хотя мы и шли по одному делу, но судили нас разные судьи.

Стоя в конце коридора за кордоном милиции, я увидел Валу с группой друзей. Через головы милиционеров они нам кричали, что иностранные дипломаты и журналисты, которых на выставке избили и с которыми очень грубо обошлись, обратились с жалобой в Министерство иностранных дел. Друзья сообщали еще и о том, что вся западная пресса и радио посвятили большие статьи и передачи "показу" или, вернее сказать, "непоказу" наших картин, известному отныне под названием "бульдозерная выставка". Потом они стали кричать какую-то, на мой взгляд, совершенно уж несусветную чепуху, а именно — этим вечером меня ждут в мексиканском посольстве. И тут ни с того, ни с сего стоявший неподалеку милиционер в чине капитана громко и отчетливо произнес:

— Успокойтесь, не шумите, пожалуйста! Он будет на этом приеме, ваш Рабин!

Приговор мне еще не вынесли, но я был убежден, что решение спустят сверху. Этот милицкий чин уже откуда-то

знал, что меня освободят в тот же день. Он сказал о том, что меня ждут в мексиканском посольстве безо всякой насмешки, и я ему поверил. Естественно, что после всех этих известий я слегка осмелел и даже обнаглел и придумал, как можно подсмеяться над этим, с позволения сказать, судом. Когда меня ввели в зал заседаний, где находилась публика, на вопрос судьи:

— Ваша фамилия!

Я ответил, что ничего, к сожалению не смогу ответить до тех пор, пока меня не сводят в туалет. Судья (это была женщина) пренебрежительно скривилась и велела меня вывести. После этого меня уже не показывали публике, а провели сразу в комнату для заседаний. Там меня и судили, в прямом смысле слова, при закрытых дверях. Судья сидела за столом одна, без заседателей и листала толстое дело, в котором наверняка содержалось гораздо больше сведений, чем могли дать истекшие двадцать четыре часа.

— Ну и натворили же вы дел! — протянула судья. — Вот и заработаете три года за хулиганство.

— Товарищ судья, — ответил я с прелеким смирением. — Судите меня по чести, по совести и по закону. Я вам доверяю.

Наступило неловкое молчание. Несколько личностей, которые сидели на стульях вдоль стен, да и сама судья отлично понимали, что я валяю ваньку, однако возразить ничего не могли. Судья тяжело вздохнула и с сожалением сказала, что я заслуживаю если не трех лет, то уж, во всяком случае, не меньше пятнадцати суток. После чего она приговорила меня к штрафу в двадцать рублей. Меня отвели на первый этаж, где уже находился Рухин, тоже приговоренный к двадцати рублям штрафа, и где за барьером стоял мой сын, Надя Эльская и Володя Сычев, получившие каждый по пятнадцати суток.

Если хорошенько проанализировать и принять в расчет все с нами случившееся, то можно признать, что мы одержали большую победу. Пока нас с Рухиным еще не отпустили, мы все вместе, коротко посоветовавшись, решили, что предложим художникам вновь повторить эту выставку, причем на том же самом месте, так как это важно в символическом смысле, и устроить ее через две недели. Сашка с Надей запротестовали, говоря, что лучше бы сделать выставку, когда их выпустят. Однако мы с Женей сказали, что без них получится даже лучше, потому что мы выставим их картины с фотопортретами и напишем ло-

зунг: "Свободу художникам!". На том и договорились.

Мне казалось, что возмущение международного общественного мнения заставит наши власти задуматься перед тем, как начать свирепствовать на глазах у всего мира. И я, в общем, оказался прав. Однако для внутреннего потребления газета "Советская культура" поместила об этом дне большую статью, красноречиво описывая, как кучка распоясавшихся хулиганов, размахивая отвратительными абстрактными картинами, мешала трудящимся сажать деревья во время субботника и как они набрасывались на дружинников, вырывая у них лопаты.

Перед освобождением от нас с Рухиным потребовали подписать документ, подтверждающий приговор. Рухин подписал и обязался заплатить двадцать рублей. Потом этот документ долго висел у него в мастерской на стене, пока какой-то любитель не купил его по дешевке. Я заявил, что не признаю ни штрафа, ни приговора, в котором меня обвиняют в хулиганстве, хотя, наоборот, я сам являюсь жертвой хулиганства, — и отказался платить штраф. Меня тем не менее выпустили. Я так никогда и не заплатил этого штрафа. Когда впоследствии женщина-судебный исполнитель



Москва, 15 сентября 1974 года

явилась за ним ко мне домой и угрожала в противном случае описью имущества, я сумел ее убедить, что, во-первых, не был хулиганом и, во-вторых, пойду на скандал, чтобы не платить штрафа, который не заслужил. Слово "скандал" всегда плохо действует на советских чиновников любого ранга. Для судебного исполнителя и ее начальства это дело было навязано другими, событие происходило не в их районе, и иметь из-за этого неприятности не имело смысла. Поэтому женщина предпочла в присутствии двух свидетелей с моей стороны составить акт, что в моей квартире не обнаружилось ни одной вещи, стоимостью в двадцать рублей.

Мой выходной костюм был перепачкан, и на прием пришлось идти в старом. Я надел чистую рубашку, одолжил галстук и отправился. Жена мексиканского посла, увидев нас с Женей, чрезвычайно удивилась, так как была убеждена, что мы еще за решеткой. Иностранцам не успели сообщить, что нас освободили. Я не удержался и тихонько ей сказал, что через две недели наша выставка повторится.

Вечер в посольстве прошел очень хорошо, нас принимали, как самых почетных гостей. Кстати, еще оставаясь в отделении, мы договорились, что трое осужденных и Женя Рухин объявляют голодовку до тех пор, пока их не выпустят. На этом приеме, как обычно, разносили напитки и разнообразную закуску. Женя не брал в рот ни капли и на вопросы удивленных гостей отвечал, что держит голодовку и поэтому ни есть, ни пить не будет, пока не освободят его товарищей. Я же говорил, что могу и закусить и выпить, потому что за свою жизнь успел наголодаться, особенно в войну 1941-1945 года.

Когда мы находились в заключении, на квартире у Саши Глезера, который с самого начала считался у нас ответственным за контакты с корреспондентами, состоялась пресс-конференция с иностранными журналистами, на которой было зачитано обращение в Политбюро с просьбой наказать виновных в происшедшем побоище. Когда мы с Женей вернулись и нам рассказали об этом обращении, мы сказали, что все это очень хорошо, но недостаточно и что надо обращаться не к коммунистической партии, в которой мы не состоим, а к советскому правительству, потому что мы являемся советскими гражданами.

Собрались все художники, и с общего согласия было написано письмо с адресом: "Москва, Кремль, Советскому правительству", где мы сообщали, что через две недели, 29 сентября, на том же самом месте мы опять устроим выставку и просим правительство, чтобы оно дало указания милиции защищать нас от возможных хулиганов,

а не потворствовать им, как это было на первой выставке.

Приблизительно в это время ко мне зашел Виктор Луи, деятельность которого на службе у советских властей хорошо известна. Он пришел, чтобы выразить свое возмущение по поводу безобразной истории с бульдозерами и сообщить, что была образована специальная комиссия для расследования этого дела. "В любом случае, — заверил он, — вы не должны беспокоиться, потому что все складывается в вашу пользу". В общем-то, Виктор Луи знал, о чем говорил, и это была хорошая новость.

Назавтра в срочном порядке были освобождены Эльская, мой сын и Сычев, и через две недели мы устроили наши "че-

тыре часа свободы" в Измайлово. Мое предположение подтвердилось: мы действительно добились победы. Один факт стоит упомянуть особо. Четыре года спустя, как раз накануне отъезда на Запад, я решил съездить на пустырь, посмотреть, хороший ли там разбит парк. Но никакого парка там не было. В точности, как и в день бульдозерной выставки, передо мной расстился мрачный, грязный пустырь, на котором по-прежнему ржавели никому ненужные огромные трубы. И тогда я подумал, что, может, было бы полезно, чтобы сюда вновь пришли нонконформисты с картинами. Тогда власти вновь организуют "субботник", и пустырь, может быть, в конце концов, озеленят.

Читайте в следующем номере «Стрельца»

проза:

Филипп Берман, Евгений Козловский, Владимир Максимов, Юрий Мамлеев

поэзия:

Наталья Горбаневская, Лев Лосев, Герман Плисецкий, Сергей Стратановский

▪ **Воспоминания Доната Мечика**

▪ **Наше интервью с Василием Аксеновым**

▪ **Статьи о живописи, кино-искусстве, рецензии на книги и журналы**

Интервью с Александром Солженицыным

Из газеты «Таймс»



В Вашей темплтоновской речи Вы назвали трагедией современного мира, что человек забыл Бога. Где и когда этот процесс начался?

Этот процесс уже тянется очень долго. На Западе он идет по крайней мере три века. В России он позже начался, но тоже еще до революции. Наши образованные классы стали участвовать в этом процессе уже два века назад, наши необразованные — несколько десятилетий перед революцией. И это последнее было главной причиной того, что в России произошла революция. Конечно, на Западе этот процесс имел предшествование уже в религиозных войнах, которые подрывали веру. Это было и в Возрождении уже. Это огромный многовековой период. И даже в начале Просвещения он еще не так ясно обозначился. Но все время шло неуклонно к этому, и особенно быстрее в двадцатом веке.

В центре этого лежит понятие, убеждение, что человек — самоцель, что он сам — мера всех вещей и самодостаточен. Как же это началось?

Создалось это вначале как реакция на жесткую строгость Средних Веков, но процесс, раз начавшись, все время углублялся и расширялся. Сегодня — мое убеждение, что цель человека не в счастье, а в духовном повышении, уже выглядит для многих каким-то чудачеством, странностью. Хотя еще 150 лет назад это звучало очень естественно.

Не оттого ли это, что наш век — первый век, где народная масса уже более не бедна. И не имеет ли эта народная масса права пользоваться тем материальным достатком, который раньше был доступен лишь немногим?

Мы должны различать понятия "материальный достаток" — на что каждый имеет право — и "жадное изобилие". Материальный достаток был у подавляющей части европейского населения уже много веков. Возможно, у нас, у тех, кто прошел Архипелаг ГУЛАг, другая мерка жизненного уровня. Но произошел моральный поворот в человечестве, переоценка значения материальных ценностей. И в наше время человек, который строго держит рамки самоограничения, может быть окружен любым изобилием и комфортом — и быть к нему равнодушным. Потому что вовсе не материальное начало первичное начало нашей жизни. Ужас не в том, что на Западе массовое изобилие, и оно привело к упадку нравов. Но упадок нравов привел к тому, что стали слишком наслаждаться изобилием.

Но возможно ли в демократическом обществе поставить преграды чрезмерному увлечению материальными благами?

Демократическое общество на протяжении последних хотя бы двух столетий прошло существенное развитие. То, что называлось демократическим обществом 200 лет тому назад и сегодняшние демократии — это совершенно разные общества. Когда 200 лет тому назад создавались демократии в нескольких странах, еще было ясно представление о Боге. И сама идея равенства была основана, была заимствована из религии — что все люди равны как дети Бога. Никто не стал бы тогда доказывать, что морковь это все равно что яблоко: конечно, все люди совершенно разные по своим способностям, возможностям, но они равны как Божьи дети. Поэтому и демократия имеет полный настоящий смысл до тех пор, пока не забыт Бог. Поскольку мы за эти 200 лет оторвались от Бога — демократия потеряла верхний центр. Предполагалась удерживающая сила именно моральная, а не государственные учреждения. Спасение демократии, конечно, не во введении строгих инструкций по ограничению. Спасение в том, чтобы люди, имея так много, имея почти все, — сами бы начали отказываться.

Даже в века, когда преобладала вера — теперь уже, конечно, не преобладала — все-таки были войны, были распри, были убийства. Присутствует ли в сердце человека что-то темное, темное начало, которое нельзя изъять, будь это в век веры или в век безверия?

Безусловно, присутствует. Но путь человечества — длинный путь. Мне кажется, что прожитая нами известная историческая часть — не столь большая доля всего человеческого пути. Да, мы проходили через соблазны религиозных войн, и в них были недостойны, а теперь мы проходим через соблазн изобилия и всемогущества, и снова недостойны. Наша история и состоит в том, чтобы проходя через все соблазны, мы вырастали. Почти в самом начале евангельской истории Христу предлагаются одно за другим искушения, и Он одно за другим отвергает их. Человечество не может сделать это так быстро и решительно, но Божий замысел, мне кажется, в том, что через многовековое развитие мы сумеем сами начать отказываться от соблазнов.

Современный человек, отвергающий Бога, может указать на пример Северной Ирландии, где христианин ненавидит христианина и убивает его. Как бы Вы на это ответили?

Это все еще наследие тех прежних религиозных войн, которые мы в свое время пережили, но в Северной Ирландии конкретно, нет сомнения, что работают силы анонимные, которые прячутся под религией, используя эту форму для политической борьбы сегодняшнего дня. Но мы все виноваты, что дали им это наследство.

Я полагаю, Вы высоко ставите теперешнего Папу Римского и его труд?

Да, я очень высоко ставлю его личность, его дух, который он внес в католическую церковь, и широкий неослабленный интерес ко всем мировым проблемам. В знаменитой энциклике одного из предыдущих пап говорилось: голос времени есть голос Бога. Так вот, нынешний Папа Римский не согласен с этим и с этим борется. Голос времени — как раз может быть ложным голосом. Мы должны не обслуживать ему, а проверять его и исправлять.

Но сейчас некоторые священники католической церкви, которые работают среди угнетенных народов, особенно в диктаторствах Южной Америки, считают своим долгом поддерживать революционные движения, восстания. Что Вы скажете?

Когда я радуюсь активной деятельности Папы в современном мире, я имею в виду, что он соотносит ее с Божественным измерением. То есть — вмещается в современный мир, но все время имея в виду измерения высшие. А те священники Южной и Центральной Америки, о которых Вы говорите, попались в одну из ловушек социализма. Социализм, который в корне противоположен христианству, любит притворяться, что он заимствовал нечто от христианства, только сделал его более реальным. Смешно сказать, что этот довод использует даже атеистическая литература в Советском Союзе, говоря, что их программа, по сути, из христианства.

Но разве не может священник бороться с угнетением, в то же время не поддерживая никакие разновидности коммунизма?

Да, да, конечно, может, но, я говорю, они попадают в эту ловушку. Участие в реальной жизни мира они понимают слишком далеко. Они чересчур вовлекаются в глубину и детали общественной борьбы, чего совсем не делает Папа Римский, потому что Божественное у него все время выше и контролирует.

Многие из них сказали бы, что именно участие в социальной борьбе есть исполнение учения Иисуса Христа.

Вот это — большое заблуждение. Действительно, Церковь должна участвовать в общественной жизни, но не таким образом, чтобы свергать одни и ставить вместо них другие власти. Да в их случае скорее всего новые власти будут еще хуже. Участвовать в общественной борьбе надо за душу каждого человека и душу каждого движения. Если мы увлечемся борьбой только за материальные права, это не будет иметь ничего общего с христианством.

Видите ли Вы какие-нибудь признаки возрастания такого сознания в молодых людях на Западе, или они продвинулись не дальше старших?

Я нахожу их в появлении отдельных людей и малых групп людей в разных странах. Я не сомневаюсь, что их гораздо больше, чем мне становится известно. Иници-

ативные меньшинства и всегда толкали историю. Так что они могут иметь за собой будущее, но я должен сказать, что время наше столь динамично и быстро, что мы можем не успеть со всеми нашими положительными движениями. Ведь это маленькие вкрапленные точки. А что касается массы — нет, не продвинулась. Мне вот вчера в Эдинбурге пришлось быть свидетелем, как по главной улице вдруг понеслась толпа в несколько сот молодых людей, с совершенно дикими криками, с дракой, их даже не мог охладить проливной дождь. Это, кажется, было связано с футбольным матчем, я не знаю, во всяком случае, с каким-то совершенно ничтожным событием. Никакое серьезное событие сегодняшнего мира не вызывает и тысячной доли таких эмоций.

Вы привлекли внимание к тому факту, что на Востоке в угнетенных странах растет духовное возрождение. Являются ли гнет и страдания необходимыми для обращения к духовному?

Я бы разделил страдания и гнет. Страдание действительно необходимо для нашего духовного усовершенствования. Но страдания вообще посланы всему человечеству и каждому живому существу в достаточном количестве, чтобы — если суметь — обратить их к духовному росту. Если человек не делает из них выводов, а озлобляется, так значит, он совершает очень плохой выбор, сам себя губит. Если же говорить о давлении, о гнете, то я скажу так: такое страшное давление, какое развито в коммунистических странах, в СССР, оно часто превосходит человеческие возможности. Этот опыт уже далеко за пределами простых страданий. Поэтому миллионы просто раздавливаются физически и духовно, просто раздавливаются, перестают существовать. Зато те, которые еще и гнет переносят, оказываются настолько возросшими и крепкими духовно, что вот они собственно являются сегодня нашей надеждой. И даже больше скажу. Я за 9 лет на Западе стал пессимистом. Я раньше, с Востока глядя, гораздо больше придавал Западу силы, устойчивости, а сегодня уже не поручусь, что Запад сумеет устоять и не быть завоеванным коммунизмом, извне или изнутри. Возможно, что борьба человечества с коммунизмом продлится гораздо дольше, чем мы предполагали. И у меня сейчас наибольшая надежда на тех, кто уже перенес десятилетия страшного тоталитарного гнета и уже выдержал, уже не сломился. Очень может быть, что коммунизм начнет переходить на другие страны, а с первых своих жертв сходить.

Хотя у меня нет никакого сомнения в глобальном поражении коммунизма, но, может быть, сейчас он еще будет расширяться.

В общем, звучит почти так, что покуда мы не пройдем через этот опыт, через этот гнет, мы духовно не возродимся.

Нет, я не считаю, что это единственный выход. Как я уже сказал, такое страшное давление вовсе не необходимо для всех. Если бы западное общество внезапно сумело мобилизоваться против коммунизма, это могло бы с вами не случиться. Но для этого надо было бы, чтобы Запад мог услышать голоса таких своих публицистов и политических руководителей, которые сказали бы, что мы сейчас уже, сегодня, находимся в угрозе смертельной; мы сегодня находимся в большей угрозе, чем в 40-м году, когда германские самолеты были прямо над Лондоном. Но я боюсь, что — по западной обстановке — если публицист напишет такое, над ним будут смеяться. А если политический деятель такое объявит, то его не выберут, а сразу отведут в сторону.

Страшный парадокс в нашем мире: те, у кого нет свободы, — жаждут ее, те, у кого есть свобода, — ее не берегут. Почему?

Я раньше думал, что можно разделить, передать опыт от одной нации к другой, хотя бы с помощью литературы. Теперь я начинаю думать, что большинство не может перенять чужого опыта, пока не пройдет его само. Надо иметь очень сострадающее сердце и очень чуткую душу, чтобы воспринять чужие страдания.

Возможно ли что-то еще худшее: что есть люди, которые просто не могут вынести свободы и мечтают стать рабами?

Таких людей полно в сегодняшней Европе.

Почему? Что создает такие условия?

Свобода требует мужества и ответственности. Но большинство предпочитает не беспокоиться ни о чем, кроме своих прав. Да не имея сознания, связанного с Богом, люди не имеют и достаточно ясного представления о действительности. Потрясающе, что Запад переполнен информацией, кажется, можно все понимать, что в сегодняшнем мире происходит, — нет! Отчасти Запад засорен информацией очень невысокого качества, а связь с Божественным источником постепенно ослабла и отвалилась.

Возможно ли в нашем сегодняшнем мире, для современного развитого общества — жить духовными и религиозными правилами?

Для сильно развитого экономически общества это труднее всего. Но другого выхода просто нет.

Но чем больше мы развиваемся технически, это становится, как Вы говорите, все труднее и труднее, — так эта конечная цель как бы все дальше и дальше уходит от нас?

Нет, только растёт опасность потерять эту цель. Конечно, все пути человечества таковы, что как только мы теряем самоконтроль, мы все более загоняемся в тупик. Я думаю, мы еще не в тупике, но пора очнуться. Вообще, мы непрерывно слышим о правах, но очень мало слышим об обязанностях, все меньше.

Как вы объясняете тот факт, что годами, десятилетиями целый ряд выдающихся ученых, профессоров, художников, были — а некоторые все еще — пленены и убеждены советским коммунизмом?

Как раз те, у которых интеллект перевесил духовность и сердце, вот как раз те и поддаются на хитросплетенную паутину марксистской диалектики. Если бы сегодня жил Ньютон, я уверен, что его никакой бы марксизм не запутал.

Я лично всегда был убежден, что не интеллектуальные вожди нас спасут, а простой человек. Вы согласны?

Вы знаете, это не такая простая дилемма. Я думаю, что совокупность тех людей, которые смогут повернуть общество или человечество, расположена по всей вертикали. Конечно, их внизу может быть численно больше, потому что низов больше, но вершина при этом тоже не будет обойдена. Вся история показывает нам, что каждому крупному общественному или национальному повороту предшествуют какие-то одно, два, три имени, которые опережают ход событий чуть не на столетие, на полстолетия. Совсем без них не обойдется. Но, конечно, не те мнимые лидеры, которые поплелись за марксизмом, будут задавать направление. Они себя обнаружат в смешном и унижительном положении и многие из них раскаются, поздно раскаются.

Предположим, не будет войны, — каким Вы видите будущее Запада?

Я отказываюсь рассматривать эту перспективу, потому что я считаю войну — правда, не ядерную — неизбежной. Включая сюда все так называемые национально-освободительные войны, все взрывы изнутри. Я думаю, что и некоторые страны Европы близки к такому вот перевороту. Иногда к этому ведут и вожди, сами вожди этих государств. Совсем недавно на социалистическом конгрессе в Португалии Майкл Фут сказал, что у вождей сверхдержав недостаточно интеллектуальных способностей, поэтому, мол, мы, вожди социалистического интернационала, должны применить свои способности. Но как раз способности вождей социалистического интернационала вполне могут завести их страны в пропасть. Мы видели, как ослабил Западную Германию Брандт, как Пальме подкреплял Северный Вьетнам, что делает сейчас Папандреу с Грецией. И так примеры и примеры. Не обязательно война приходит в виде вторжения. Она приходит и изнутри, и тоже не обязательно в виде восстания. Она приходит в виде ослепления политических деятелей. Поэтому, к сожалению, совершенно нереально рассматривать, что было бы при "статус кво" в мире. "Статус кво" не будет более, ни одного года.

Думаете ли Вы, что со временем социализм неизбежно дегенерирует в коммунизм?

Я придерживаюсь абсолютно того же мнения, что наш замечательный ученый Юрий Орлов. Он сидит уже много лет в лагере, а незадолго перед своим арестом напечатал статью, в которой доказывает, что всякий социализм, самый мягкий, самый в кавычках демократический, если только он будет достаточно последователен, если он не будет отступать, изменять, а только двигаться согласно своей внутренней логике, он неизбежно приведет к коммунизму. И это мы видим всюду, во многих странах, социалисты всегда робеют перед коммунистами, ничего не могут сделать. Они не устаивают перед коммунистами. Они только тогда могут устоять, когда начинают пятиться и отступать от самого социализма.

Я теперь хочу с Вами поговорить о ядерном разоружении. Кампания одностороннего ядерного разоружения в Англии приобрела сейчас большую силу и влияние. Как Вы считаете, что это означает?

Это явление требует рассмотрения в нескольких аспектах. Во-первых, в общечеловеческом. Сам я испытываю последнее, крайнее отвращение к ядерному оружию,

и к химическому, и к бактериологическому. Запад несет на себе моральную ответственность, что 40 лет назад он вообще решил изготавливать и применять ядерное оружие. Сама идея "ядерного зонтика" была безнравственна. Надо было понимать, что крепость Запада надо растить в сердцах и обязанностях молодежи. Тогда, если бы и создалась ядерная гонка, Запад был бы силен и без нее. Сегодня Запад без ядерного оружия не имеет вообще ничего, то есть вся ставка Запада на ядерное оружие. Вот эта ошибка — когда-то посчитать морально допустимым ядерное оружие — держала Запад два десятилетия в безопасности, а теперь идет на Запад, как бумеранг. Второй аспект — это частный случай паразитического ослепления молодежи и общества. Я никогда не взялся бы осудить ни одного человека, который выступает против ядерного вооружения. Но происходит иная беда, возникает удивительное неравновесие в этих движениях отвращения. Полвека мы имели возможность открыть глаза обществу и молодежи, но западная молодежь паразитически не понимает истинной ситуации. Попробуйте им сказать: а почему же нет точно такого же движения ядерного разоружения в Советском Союзе? Их это не беспокоит. Они скажут: ну вот, мы разоружимся, односторонне, а тогда, конечно, и коммунисты разоружатся. И здесь не столько дезинформация, как смятение умов, здесь падение воли этой молодежи. Пойдите к ней и спросите: хорошо, мы согласны разоружиться, но вы — идете завтра в армию умирать, в обычную армию? Если они будут искренни, они скажут: нет! нет-нет! Сегодня для них противодействие ядерному оружию — удобный повод скрыть свою если не трусость, то слабость моральную. Потому что на самом деле они вообще не хотят сопротивляться, они не хотят никакого оружия, они хотят скорее сдаться. И наконец третий аспект — это активное участие советских денег и советской организации. Коммунисты имеют огромный опыт в этом отношении. Ленин уже в 1917 году организовал плату по 5 и по 10 рублей каждому за одну демонстрацию против Временного правительства. Сталин организовывал на Западе так называемое "движение за мир" в те годы, когда у него еще не было атомной бомбы, и тоже денег на это не жалел. Ну и сейчас, конечно, это практикуется. Но, кончая этот вопрос, хочу подчеркнуть, что проблема не сводится к одной советской организации. Если бы Запад не имел за собой нескольких десятилетий расслабляющей надежды на ядерное оружие, если бы молодежь была информирована и крепка волей, — никакие советские деньги ничего бы не сделали.

Некоторые сторонники ядерного разоружения в этой стране говорят, что раз они ничего не могут сделать против советского ядерного вооружения, то единственный путь — протестовать против нашего ядерного вооружения, по крайней мере, хоть с нашего конца начать.

Ну да, я все время настаиваю, что это у них анонимное действие. Это беспроигрышно — протестовать против ядерного оружия, которое, безусловно, отвратительно, но они скрывают за этим неготовность обратиться к защите своей родины. Советские вожди при такой ситуации вообще легко могут обойтись без ядерного оружия, они просто возьмут вас обычным оружием и притом без всякого сопротивления. И вот этим самым молодым людям, которые так смело сегодня демонстрируют, которые берутся за руки на тридцать километров по длине, — им скажут: "по три человека на улице не стоять!" — в Лондоне, и они будут это выполнять.

Некоторые говорят, что раз термоядерная война была бы катастрофой для всей нашей планеты, то сдать даже для тех, кто ненавидит коммунизм, желательнее ядерной войны. Что Вы скажете?

Я скажу только, что знаменитое противопоставление Бертрана Рассела "лучше быть красным, чем мертвым" — на самом деле не содержит альтернативы. Потому что быть красным — это значит быть мертвым, сразу или постепенно. Свободные люди Запада пропустили 65 лет, стоя на ногах и во всей силе, — не боролись. Когда они сдадутся коммунизму, они окажутся в положении рабов и притом умирающих. И тогда они начнут борьбу, но в совершенно других условиях. Поразительно то, что Запад не слышит прямого смертного приговора, который ему произнесен. В 1919 году был создан Коминтерн, и его вожди, Ленин и Троцкий, еще не имея никакого ядерного оружия, даже не имея в достатке простых винтовок и патронов, объявили смертный приговор западному миру. На Западе это вызвало только смех. 60 лет назад сюда хлынула вся образованная Россия, все сливки русских умов, и все говорили: это что-то необыкновенное, это ни на что не похоже, — Запад не обратил никакого внимания. 50 лет назад к вам привозили из Архангельска бревна с надписями кровью от заключенных — эта история стала известна, но никто не обратил внимания. 40 лет назад хлынули миллионы советских людей, которые рассказывали, что это что-то ужасное. Их не только не слушали, но сотнями тысяч выдавали на уничто-

жение в Советский Союз. 30 лет назад Кравченко на известном процессе в Париже показал, что такое Советский Союз, и на него не обратили внимания. История не прощает столь долгих ошибок.

Некоторые сказали бы: что ж, нас приговорили к смерти 65 лет тому назад, а мы все еще живы. Почему нам так не продолжать?

Потому что невозможно сравнить то положение, когда Кремль не имел еще армии, вооруженной винтовками, и когда сегодня он имеет лучшие ракеты на Кубе, в Никарагуа, лучшие морские базы в Анголе, Мозамбике, в Южном Йемене, и когда перед вами вырос огромный коммунистический Китай. Мы видим, что этот процесс не только идет постоянно, но идет с ужасающей быстротой.

Считаете ли Вы, что возникновение Солидарности является признаком истинной надежды, или тот факт, что Солидарность разбили, является признаком того, что надежды нет?

Во всем этом явлении гораздо больше надежды, чем разочарования. Это движение дает нам надежду и своим масштабом, и своим духовным направлением, основанным не на социализме, а на христианстве. Польша смогла его проявить благодаря силе своей церкви. Но безусловно это сигнал того, что может происходить в других коммунистических странах. Об отдельных вспышках Запад часто и не знает. Много случаев крупного сопротивления в Советском Союзе, крупных забастовок остались неизвестны, или узнавались с опозданием в 20 лет. А что происходит сегодня в Китае или в Корее — никто не знает и даже не хотят знать. Солидарность — да, это надежда. То, что она потерпела временное или длительное поражение, показывает серьезную силу коммунизма, которая всегда имеет во всяком народе опору на беспринципную часть. Такая беспринципная часть есть и у вас в каждой западной стране не меньше. Но по отношению к Польше Запад отчасти... ну, как на спектакль смотрел. И тут есть сходство с тем, как Запад смотрит на Афганистан. Ведь Запад все время надеется, что на Востоке произойдет какое-то чудо, которое избавит вас от необходимости защищать самих себя. Может быть — что вместо Брежнева придет хороший либерал Андропов или еще какой-нибудь "голубь". Может быть — польская Солидарность перевернет Польшу, а за ней и Литву, а за ней и Советский Союз. Вот не надо смотреть на эти события, как на

спектакль, смотрите, как на призыв напрягать силы Запада. Могли бы западные кредиторы не прощать, например, польскому правительству их долги. Это постоянная такая психология на Западе — мы якобы помогаем народу. Еще с тех пор, как при Рузвельте стали посылать целые заводы в Советский Союз устанавливать, с тех пор все время Запад укреплял именно коммунистические правительства, против их народов.

Ну посмотрим на Афганистан, вот идет уже три года война. За это время Запад, кроме самого общего сочувствия, ничего реального не сделал для этой страны. Но если бы Запад имел совершенно ясное представление, что все коммунистические правительства мира его смертельные враги, и никакие разрядки, никакие улыбки не смягчат этого положения; наоборот, все подневольные народы — его союзники, — то, например, в Афганистане можно было бы акциями Запада давно создать такую ситуацию, чтобы на стороне повстанцев уже сегодня были бы два, три, четыре добровольных полка из бывших советских военнослужащих. Но, во-первых, все западные правительства, включая американское, боятся гнева Кремля, а во-вторых, в конце Второй мировой войны Запад подорвал доверие наших народов. Мы верили, что Запад наш союзник, а Запад предавал тех, кто воевал против коммунизма, предавал на уничтожение. Ту прежнюю историю надо не скрывать, а наоборот, напомнить ее и сказать, что Запад не повторит той ошибки. Однако, это все мечты, на самом деле Запад только наблюдает, не произойдет ли на Востоке чудо.

Если западные правительства ничего не сделают, как могут помочь делу отдельные лица Запада?

Отдельные лица и помогают. Уже создали несколько коротковолновых радиостанций, многие врачи поехали туда помогать афганским раненым. Но когда позиции правительств трусливые, индивидуальная помощь имеет границы. И сейчас я со страхом слежу: швейцарское правительство через короткое время не выдаст ли на уничтожение советских военнопленных, спасшихся.

Предположим, что Ярузельский мог бы помочь улучшить условия для поляков в такой же мере, как Кадар это сделал для венгров. Вы бы это приветствовали? Или Вы бы считали, что положение должно ухудшиться для того, чтобы улучшиться?

Нет, вот так бы я не сказал. Я, конечно, приветствовал бы всякое улучшение реального положения поляков. Но я не склонен преувеличивать, как много сделал Кадар для венгров. И когда нужно было вторгаться в Чехословакию, то прекрасно Кадар вторгся в Чехословакию. Надо сказать, что у каждого коммунистического вождя есть свои пределы, в которых он может сделать что-то хоть немножко положительное. Если Ярузельский вдруг оказался бы патриотом и старался делать хорошее для Польши, то завтра бы его опрокинули там, внутри политбюро. И был бы кто-нибудь другой.

Это вообще парадоксально. Советские вожди видят, что их система не работает, они не могут кормить народ, они должны все время поддерживать гигантскую систему гнета, они знают, что миллионы их ненавидят, почему они ничего не пытаются изменить?

Они видят, что их система отлично работает. Она имеет такие геополитические успехи, каких не имел никогда ни один завоеватель в истории. Они видят, да, хозяйство у них разваливается, но они знают — в тяжелые минуты капиталисты им всегда помогут, а везде, где коммунисты толкнут, капиталисты отступят. А о том, как живет народ, они не беспокоятся. Это такое правительство, которое совершенно не думает о том, как живет народ. Он сейчас вымирает у нас, народ, — ну и пусть вымирает. Они перейдут владычествовать над другими народами.

Такое общество, основанное на лжи, не может вечно существовать, это "дом, построенный на песке". Согласны ли Вы с этим? И если согласны, то как Вы себе представляете начало конца?

Конечно, это не может существовать вечно. Конечно, будущие историки скажут: коммунизм на земле существовал от такого-то и до такого-то года. Но благодаря тому, что Запад в течение двух третей века делает ошибки и поддерживает коммунистические правительства, коммунизм имеет еще шансы распространяться на земле, я теперь пришел к этому пессимистическому выводу. И, возможно, это будет походить на солнечное затмение, когда тень на землю находит, а потом сходит. Вот она нашла тень, на Россию, на Китай, а потом постепенно с них сойдет, перейдет на другие места, и в конце концов покинет землю.

Можете ли Вы указать предположительное начало этого процесса?

Ни форма, ни сроки не достижимы человеческому разуму. От самого момента, как коммунизм утвердился в России, умнейшие русские люди говорили — ну пять лет, десять лет, пятнадцать лет... это не может держаться, это настолько нелепо, что не может держаться. А Запад казался твердыней. И вдруг оказалось, что эта нелепость держится, а Запад слабеет и слабеет. Я отказываюсь предсказывать сроки и формы, но я абсолютно уверен в том, что марксизм уйдет с земли, как затмение. Даже на примере нашей страны, которая 65 лет под коммунизмом, мы видим, что коммунизм со всем своим оружием не мог победить христианство. Сам я почти уверен, что еще при своей жизни вернусь на родину.

Вожди венгерской революции в 56-м и чешской весны в 68-м — все вышли изнутри коммунистической партии. Думаете ли Вы, что есть такие люди в Советском Союзе, которые ждут момента, а пока продвигаются по иерархии?

Во-первых, я хотел бы разделить эти два примера: чешский и венгерский. Чешский вариант я считаю вообще бесперспективным. Это попытка людей, которые считают себя до конца коммунистами, придать коммунизму так называемое человеческое лицо. Это совершенно невозможно. Если бы даже не было вторжения стран Варшавского пакта в Чехословакию — или бы вся кампания Дубчека сошла бы постепенно на нет, или события начали бы принимать более грозный характер, и тогда был бы венгерский вариант.

Венгерский вариант чрезвычайно ободряющий, потому что в венгерском варианте пробудилось и действовало чувство национальной самозащиты. (Кстати скажу, что в моей жизни вот это венгерское восстание и безучастность Запада была потрясением. Я увидел — вот, начинается, я ждал от часа к часу, но Запад остался безучастным. Я потерял веру в Запад). Да, венгерский вариант показывает, что даже в коммунистической системе и даже через ее руководителей может пробиться чувство национального самосохранения. Так, как организм больного человека вдруг сам находит, чем себя спасти в последнюю минуту. Но надо сказать, что в Венгрии к этому моменту всего-навсего было 8 лет коммунистического господства. Венгрии еще не успели коммунисты испортить и перекалечить, да и в самих коммунистических кадрах еще встречались люди непорочные.

У нас эта система стоит 65 лет, за это время сменилось уже два-три поколения. И в коммунистической иерархии происхо-

дит все время отбор, как только попадает честный и принципиальный человек, система его выбрасывает: или он сам из нее уходит, или погибает. Сегодня наша система такова: вся верхушка совершенно гнилая, поэтому ничего, кроме горького смеха не могут вызвать западные гадания, что вот такой-то заменит такого-то и станет хорошо. Коммунистический вождь хороший не найдется. Когда Хрущев проявил толику кое-каких человеческих качеств — система его выбросила. Однако я верю, что наша нация, как организм, еще не умерла, и поэтому живые ростки все равно пробиваются в разных неожиданных местах. Это инстинкт, через который народ спасает сам себя. И я сам ощущаю у себя на родине массу людей, которых бы я назвал своими единомышленниками или сочувствующими. Кого-то из нашего народа я представляю; если бы я никого не представлял, то меня бы и власти не боялись.

В 30-х годах Запад очнулся только, когда началась война. Мы должны очнуться теперь, очнуться до начала войны. Что может нас разбудить?

Я бы не хотел, чтобы вы проснулись, когда потолок уже обрушился на вашу голову. Я бы хотел, чтобы громкие голоса выдающихся людей, писателей, публицистов, политических деятелей, осмелели бы сказать, что потолок уже треснул и скоро упадет, не боясь, что им ответят: ах, это смешно, ах, это слишком крайне. Я все-таки верю, что громкий искренний голос может подействовать на людей.

Это внутри. А извне? Что должны были бы сделать коммунистические вожди, чтобы вызвать наше противостояние?

Пока не видно.... пока что мы не видим ни единой страны, из-за которой Запад стал бы биться. Возможно, Соединенные Штаты готовы биться за Израиль. Не знаю, будет ли биться Европа за нефть. Не степень опасности вас вразумит — вас укрепит, когда наступит воодушевление внутреннее. Что может быть разительней того, как уничтожали кхмеры свой народ? Что может быть разительней того, как вьетнамцы плывут на лодках и тонут? Откройте ваши газеты — много вы там найдете взволнованности от этого? А ведь это уже край, это уже последний край.

Если бы Вы были советником президента Рейгана, что бы Вы ему сказали?

Я должен сказать, что президент Рейган вообще не нуждается в моих рекомендациях и советах. Он сам ясно видит

ситуацию. Напротив, он то и дело получает публичные советы от американских публицистов — советы того качества, что, по моему, ослиные уши и то должны были упасть. Я думаю, что президент Рейган не испытывает недостатка в понимании проблем, но он все время должен бороться с ослепленной, близорукой общественностью. Он даже не может доказать ей, что сейчас в Центральной Америке создается реальный фронт против Соединенных Штатов. Когда Рейган сказал, что он находится в резкой конфронтации с коммунизмом, то на него зашикали, что он испортил всю разрядку. А на самом деле он сделал лишь малый шаг из того, что он, вероятно, намерен был бы сделать. Но американская общественность настроена так, я приведу пример из мореплавания. Сейчас, когда вы слышите сигналы СОС, вы должны спросить: "кто вы такие, у вас демократия или нет?". Если демократия — спасать. Если это коммунистическое судно — тем более спасать, потому что так... избежим неприятностей. А если у вас недемократический западный режим — идите ко дну, тоните. Это совершенное безумие. О тех,

кто стоит на самом переднем крае, под пулеметным огнем, требуют демократии. В Сальвадоре провели выборы под пулеметами, действительно расстреливали избирателей. Американский конгресс и американская общественность кричат: "недостаточно демократии! ведите переговоры с бандитами, давайте новые и новые выборы под пулеметами". Простите, но вот такие случаи заставляют меня считать Запад иногда сумасшедшим домом.

Что бы Вы сказали, если бы у Вас была возможность обращаться по радио к русскому народу?

Видите, публицистика вообще... я ею занимаюсь поневоле. Если бы я имел возможность обращаться к соотечественникам по радио — я бы читал свои книги. Ибо в моей публицистике и в моих интервью я не могу выразить и одной сотой части того, что есть в моих книгах.

Есть ли что-то особое, что Британия, в отличие от остальной части западного мира, может сделать?

Возможно, Британия могла бы сделать нечто из того, что я здесь уже упоминал. Но главное: британская история продемонстрировала не раз удивительную способность мобилизоваться в опасности. Если бы в Британии началась моральная мобилизация сейчас, до того, как обрушится потолок, то даже отдельное стояние одной Британии произвело бы на коммунистических вождей сильнейшее впечатление. Коммунисты при своей жадности захватывать мир, на самом деле разборчиво хватают те куски, которые ухватить легче. А где они встречают твердую волю — они отступают. Даже от своих узников, собственных узников, которые тверды волей.

Каково Ваше заключительное слово читателям этого интервью?

Я мог бы только призвать британцев очнуться самим, пока не поздно. Пришло время ограничивать себя в потребностях, учиться жертвовать собою для спасения своей родины и своего общества.

Интервью взял **Бернард Левин**

Internationale de la Résistance

Resistance International

ОБРАЩЕНИЕ "ИНТЕРНАЦИОНАЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ"

"Интернационал Сопротивления" является организацией, взносы в которую не подлежат обложению налогом (согласно французскому закону 1901 года о благотворительных организациях).

Цели "Интернационала Сопротивления":

- добиться эффективной координации всех правозащитных и политических акций во всем мире, направленных против тоталитарного наступления;
- обеспечить материальную и политическую поддержку всем демократическим движениям сопротивления в тоталитарных странах;
- предоставить помощь жертвам диктаторских режимов и обеспечить защиту социальных прав беженцев;
- организовать сбор и распространение альтернативной информации из тоталитарного мира;
- добиться признания во всех узаконенных международным правом организаций в качестве самостоятельной общественной и политической институции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Владимир БУКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Армандо ВАЛЯДАРЕС

Желающим вступить в комитет содействия "Интернационала Сопротивления" необходимо заполнить нижеприведенный бланк и отослать его по указанному адресу, вместе с членским взносом. Секретариат высылает членский билет по получению этого бланка.

Я, нижеподписавшийся
 проживающий по адресу
 прошу принять меня в комитет содействия "Интернационала Сопротивления".

Членский взнос — 100 фф — приложен.

Дата

Подпись

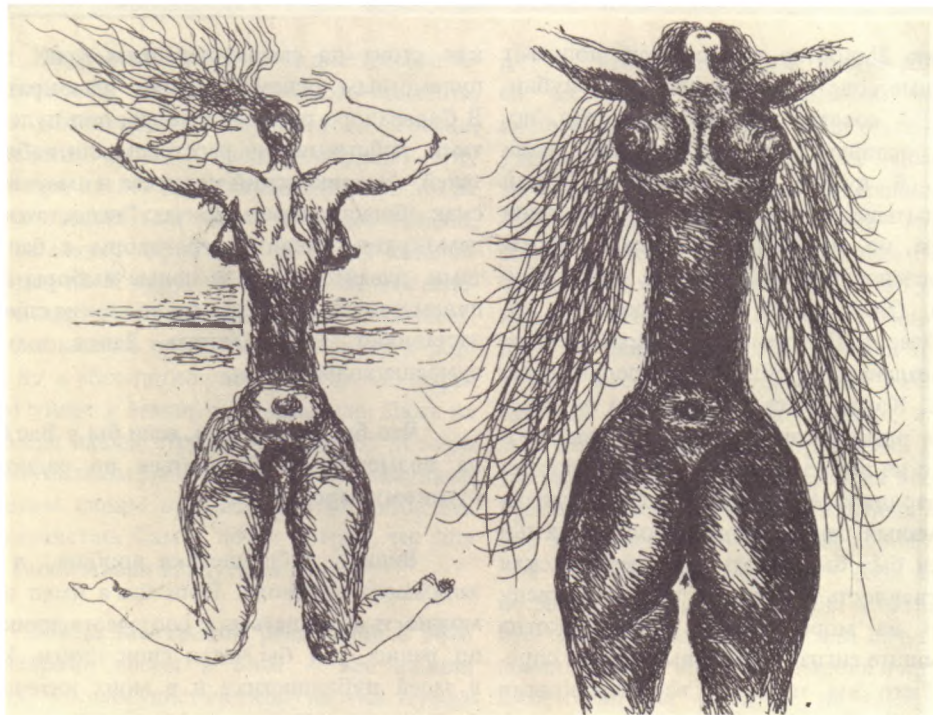
Принимаются с благодарностью также пожертвования, превышающие размер членского взноса. Чеки выписывать на "Интернационал Сопротивления".

Почтовый счет: CCP № 2. 302. 87 T — Paris (FRANCE)
 102, AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS (FRANCE) Tel.: 562.86.90

Пожалуй, ни одна выставка неофициального русского искусства в Соединенных Штатах не имела такого успеха, как состоявшаяся в Вашингтоне экспозиция "Неофициальное искусство из СССР", на которой демонстрировалось 70 работ сорока семи художников — как эмигрантов последних лет, так и москвичей и ленинградцев. Выставка эта проходила с 6-го по 31-е июля в двух залах Сената и Конгресса США, и за эти неполные четыре недели ее посетило более двух тысяч зрителей, причем не только жителей Вашингтона, но и многих других городов страны.

Обычно скупая на похвалы "Вашингтон Пост", выделяя творчество Владимира Овчинникова и Михаила Шемякина, отмечая поэтичность их работ и фантастическое видение мира, присущее обоим мастерам, отзываясь о выставке в целом так: "В большинстве своем это художники, которые ищут возможности выразить себя и делают это на высоком профессиональном уровне". Критик газеты "Балтимор Сан" выделяет работы Льва Нуссберга, Оскара Рабина и Бориса Свешникова. А вот что пишет критик газеты "Вашингтон Таймс": "Первое поколение русских неофициальных художников, к которому относятся, например, Оскар Рабин и Эрнст Неизвестный, склонно к экспрессионизму. Они используют в своих картинах темные, сильно контрастирующие краски, и работы их несут в себе сумрачное, пессимистическое содержание. Более молодые ведущие русские живописцы, такие как Михаил Шемякин и Олег Целков, больше склоняются в сторону модифицированного сюрреализма и совмещают на своих полотнах светящиеся краски, близкие по тону к русской иконописи, с высоконаэлектризованным личным символизмом. Но, так или иначе, все эти четыре художника — законченные мастера с установившимся индивидуальным стилем".

Критик "Вашингтон Таймс" выделяет также работы Виталия Комара и Александра Меламида, Владимира Овчинникова и Вячеслава Сысоева. Кстати, два рисунка Сысоева иллюстрируют статью в "Вашингтон Таймс", репродукции работ Олега Целкова, Владимира Овчинникова и фотографии с выставки опубликованы во многих газетах.



Владимир Янкилевский. Из цикла «Анатомия чувств», офорт, 1972



Вячеслав Калинин «Прохожий», холст/масло, 1974

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА КАПИТОЛИЙСКОМ ХОЛМЕ



Анатолий Белкин. «Введение», бумага/тушь, 1976



Владимир Овчинников. «Леда», холст/масло, 1976

Анатолий Белкин
 Эрик Булатов
 Анатолий Васильев
 Владимир Вейсберг
 Николай Вечтомов
 Владимир Григорович
 Виталий Длугий
 Юрий Жарких
 Анатолий Зверев
 Борис Зельдин
 Эдуард Зеленин
 Анатолий Иванов
 Илья Кабаков
 Вячеслав Калинин
 Александр Калугин
 Отари Кандауров
 Иосиф Киблицкий
 Виталий Комар
 Дмитрий Краснопевцев
 Анатолий Крынский
 Валентина Кропивницкая
 Леонид Лерман
 Лидия Мастеркова
 Александр Меламид
 Лев Межберг
 Александр Ней
 Эрнст Неизвестный
 Владимир Немухин
 Лев Нуссберг
 Михаил Одноралов
 Владимир Овчинников
 Леонид Пинчевский
 Дмитрий Плавинский
 Александр Рабин
 Оскар Рабин
 Алек Рапопорт
 Евгений Рухин
 Борис Свешников
 Василий Ситников
 Леонид Соков
 Вячеслав Сысоев
 Гарри Файф
 Олег Целков
 Владимир Чернышев
 Валентина Шапиро
 Михаил Шемякин
 Эдуард Штейнберг
 Владимир Яковлев
 Владимир Янкилевский

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Копенгаген, "Plakat Galleriet"
9 сентября – 23 сентября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ГРИГОРИЯ ГУРЕВИЧА
(ГРИГУРА)

Мюнхен, Культурный центр
14 сентября – 15 октября
"ПОДАВЛЯЕМОЕ ИСКУССТВО
МОСКВЫ"

(из коллекции Рубины Арутю-
нян)

*Борис Бич, Сергей Бордачев, Вла-
димир Вейсберг, Анатолий Зверев,
Вячеслав Калинин, Владимир Немухин,
Дмитрий Плавинский, Владислав
Провоторов, Владимир Пятницкий,
Наталья Шибанова и др. (всего 23 художника)*

Монжерон, Музей современно-
го русского искусства

17 сентября – 21 ноября

"РУССКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ
И СЮРРЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ "

*Александр Арефьев, Николай Веч-
томов, Юрий Жарких, Анатолий
Зверев, Александр Злотник, Вяче-
слав Калинин, Отари Кандауров,
Иосиф Киблицкий, Дмитрий Крас-
нопевцев, Эрнст Неизвестный, Вла-
димир Немухин, Оскар Рабин, Вла-
димир Рыклин, Борис Свешников,
Олег Целков, Владимир Чернышев,
Владимир Яковлев, Владимир Ян-
килевский.*

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Меделин (Колумбия), галерея
"Suramericana"

26 сентября – 20 октября

ПЯТЬ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

*Виталий Длугий, Эрнст Неизвестный,
Леонид Пинчевский, Оскар Рабин,
Вячеслав Савельев*

КАНАДА

Торонто, Gallerie Heritage Inter-
nationale"

30 октября – 30 ноября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА

США

Ньюарк (штат Нью-Джерси),
Галерея "City Without Walls"

9 – 30 сентября
"ПРИДЕШЬ ВЧЕРА – БУДЕШЬ
ПЕРВЫМ"

*Никита Алексеев, Сергей Ануфриев,
Александр Дрючин, Вадим Захаров,
Франсиско Инфанте, Виталий Комар
и Александр Меламид, Александр
Косолапов, Леонид Ламм, Ростис-
лав Лебедев, Михаил Рагинский,
Виктор Скерсис, Виктор Тупицын,
Генрих Худяков, Иван Чуйков,
группа "Мухоморы" (Москва) –
Свен Гундлах, Алексей Каминский,
Сергей и Владимир Мироненко,
Константин Звездочетов, группа
"Коллективное действие" (Москва)
– Никита Алексеев, Георгий Кизе-
вальтер, Андрей Монастырский, Ни-
колай Понятков, группа "Страсти
по Казимиру" (Нью-Йорк) – Алек-
сандр Дрючин, Александр Косола-
пов, Виктор Тупицын, Владимир
Урбан.*

Бeverли Хиллс (штат Калифор-
ния), "Lawrence Ross Galleries"

14 сентября – 14 октября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА

Ньюпорт Бич (штат Калифор-
ния), "Lawrence Ross Galleries"

15 сентября – 15 октября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА

Вэйн (штат Пенсильвания)
"Newman & Saunders Gallery"

17 сентября – 15 октября
ВЫСТАВКА РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ
ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ

*Юрий Бобрицкий, Сергей Бонгарт,
Сергей Голлербах, Виктор Лазухин,
Михаил Лазухин, Владимир Одино-
ков, Константин Черкас, Владимир
Шталов.*

Альбукирк, штат Нью-Мексико
ASA Gallery

19 сентября – 14 октября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АЛЕКСАНДРА КАЛУГИНА

Нью-Йорк
"National Arts Club"

27 сентября – 2 октября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
СЕРГЕЯ ГОЛЛЕРБАХА

Вашингтон, Nationale Cathedra-
le

24 сентября – 13 октября
"СОВРЕМЕННОЕ
СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО"

(из коллекции Нортон Доджа)

*Акоп Акопян, Эли Белютин, Томас
Винт, Юрий Жарких, Вячеслав Кали-
нин, Виталий Комар и Александр
Меламид, Лидия Мастеркова, Влади-
мир Немухин, Владимир Овчинни-
ков, Виктор Пивоваров, Дмитрий
Плавинский, Алек Рапопорт, Игорь
Росс, Игорь Тюльпанов и др. (всего
36 художников)*

Братлборо (штат Вермонт)

30 сентября – 29 октября
"НЕОФИЦИАЛЬНОЕ РУССКОЕ
ИСКУССТВО"

Выставка организована Мальбо-
ро-колледжем и Музеем совре-
менного русского искусства
в игнании в Джерси-Сити.

*Эрик Булатов, Виталий Длугий,
Илья Кабаков, Вячеслав Калинин,
Александр Калугин, Дмитрий Крас-
нопевцев, Владимир Немухин, Алек-
сандр Рабин, Оскар Рабин, Василий
Ситников, Олег Целков, Михаил
Шемякин, Владимир Яковлев, Вла-
димир Янкилевский.*

Нью-Йорк, T.A.T. Gallery

27 октября – 16 ноября

"РУССКИЕ МАСТЕРА:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ"

*Павел Буданицкий, Константин Ко-
ровин, Исаак Левитан, Филипп Ма-
лявин, Илья Репин, Сергей Судей-
кин.*

*Михаил Александров, Владимир
Григорович, Виталий Длугий, Вален-
тина Кропивницкая, Лев Межберг,
Эрнст Неизвестный, Михаил Одно-
ралов, Леонид Пинчевский, Людми-
ла Путилина, Александр Рабин,
Оскар Рабин.*

16 ноября – 1 декабря
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ЛЬВА МЕЖБЕРГА

Арлингтон, Арлингтонский университет (штат Техас)

1 ноября – 29 ноября

”НЕОФИЦИАЛЬНОЕ РУССКОЕ ИСКУССТВО”

(из собрания Музея современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити)

Эрик Булатов, Владимир Вейсберг, Виталий Длугий, Анатолий Иванов, Вячеслав Калинин, Дмитрий Краснопевцев, Валентина Кропивницкая, Олег Лягачев, Александр Рабин, Оскар Рабин, Василий Ситников, Олег Целков, Владимир Янкилевский.

Вашингтон, Russian Cathedrale

9 ноября – 25 ноября

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИТАЛИЯ ДЛУГИЙ

Скрэнтон, Еврейский культурный центр (штат Пенсильвания)

13 ноября – 23 декабря

”НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИЗ СССР”

(из собрания Музея современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити)

Виталий Длугий, Анатолий Зверев, Илья Кабаков, Вячеслав Калинин, Дмитрий Краснопевцев, Эрнст Неизвестный, Владимир Немухин, Леонид Пинчевский, Евгений Рухин, Оскар Рабин, Борис Свешников, Вячеслав Сысоев, Олег Целков, Михаил Шемякин, Владимир Янкилевский.

Нью-Йорк, Edward Nakhamkin Fine Arts”

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:

14 сентября – 29 сентября

Нина Усачева

29 сентября – 17 октября

Моисей Коган

18 октября – 2 ноября

Михаил Шемякин

3 ноября – 16 ноября

Илья Шенкер

17 ноября – 1 декабря

Григорий Перкель

Бостон (штат Массачузетс)

“Pucker & Saffrai Gallery”

19 ноября – 19 декабря

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА АНУФРИЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

предлагает



О пакте между Сталиным и Гитлером известно всему миру, известно о нем и советским людям. Однако все документы, касающиеся советско-германских отношений 1939-1941 годов до сих пор засекречены. Советские историки к ним не допускаются. Об этом периоде не пишут, словно его и не было. На него наложено партийное табу. Почему? Ведь советско-германское соглашение было опубликовано в советской прессе тех лет. Да, это так. Но ведь наряду с обнародованным пактом были подписаны и всякого рода секретные соглашения о разделе мира, разделе сфер влияния между СССР, гитлеровской Германией, Японией и Италией. Вот эти соглашения и поныне в СССР закрыты для исследователей. Читатель книги “Советско-нацистские отношения” легко поймет почему руководители СССР так страшатся публикации этих взрывоопасных документов.

Эта книга документов, необходимая каждому серьезному исследователю, изучающему историю советско-германских отношений и историю СССР в целом, читается в то же время, как увлекательный роман, в котором не шесть сюжетных поворотов, рискованных авантур, закулисных интриг, конечным результатом которых стала самая чудовищная доньяне в истории человечества война.

Нью-Йорк, 1983, ок. 350 стр. \$25.00



Чеки и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U.S.A.

Просьба добавлять 1 долл. за каждый первый и 50¢ за каждый последующий экземпляр на пересылку.

К жителям Нью Йорка просьба добавлять 8%-й налог к стоимости заказа.

Вниманию лиц, проживающих за пределами США:

«Руссика» принимает оплату только в виде
Международных денежных переводов
в долларах США.



Острый сюжет и выразительный язык повествования – вот, что отличает эту книгу.
117 стр. \$6.00



Остроумные и язвительные воспоминания известного карикатуриста, который ныне находится в советском концлагере.
96 стр. \$7.00



”Панорамный и телескопический роман, свидетельствующий о жизни советской интеллигенции”
(В. Аксенов)
313 стр. \$17.50



Книга о жизни и смерти академика Вавилова.
127 стр. \$8.00



”Козловский, безусловно – восходящая звезда новой русской прозы”. (В. Аксенов).
198 стр. \$8.00



Талантливая и веселая книга о собаке, решившей эмигрировать в Израиль.
117 стр. \$6.00



Мистические стороны бытия – главная тема творчества талантливого русского писателя.
96 стр. \$6.00



Талантливая повесть о жизни ленинградской интеллигенции, о превратностях любви и творческой одержимости.
96 стр. \$7.00



В. Аксенов, А. Глезер, Б. Календарев, Е. Козловский и др.
96 стр. \$6.00



Ф. Берман, Ю. Кублановский, С. Петрунис, Е. Шварц, С. Юрьенен и др.
96 стр. \$6.00



Д. Бобышев, Л. Лосев, А. Платонов, В. Сысоев и др.
96 стр. \$6.00

■
Чеки и денежные переводы
просьба направлять
по адресу:
RUSSICA BOOK & ART SHOP, INC.
799 BROADWAY,
NEW YORK, NY 10003
U.S.A
■